

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

## “ТЫ, ЖГУЧИЙ ОТПРЫСК АВВАКУМА...”

Глава 34

“Я сгорел на своей “Погорельщине”...

Клюев не мог не ждать этого дня, не мог не предчувствовать его наступление.

Когда комиссар оперода Шиваров предъявил ему ордер, Николай прочитал, отошёл в сторону, тяжело уселся на низенький стул, предоставив свою дальнейшую судьбу Божьей воле.

А пришедшие “архангелы” со знанием дела рылись в его вещах и бумагах.

В протоколе обыска было подробно и добросовестно зафиксировано всё изъятое для представления в ОГПУ: “Рукопись поэмы “Я” (это была рукопись “Каина” со стёртым прежним заголовком и частично разорванными пополам страницами. — С. К.), вторая часть; рукопись поэмы “Погорельщина”, зелёная тетрадь с записями различных стихотворений на 34 страницах; рукопись сборника стихотворений “О чём шумят седые кедровые” и другие, напечатанные на машинке на 54 листах; рукопись из первой части поэмы “Я” на первом листе; рукопись поэмы “Песнь о великой матери” на 82 страницах; рукопись стихотворения “Не верю” на двух листах; программа концерта от 9 октября 1914 г<ода>; книга Таро... и книга В. В. Розанова “Люди лунного света”; три записных книжки; шестнадцать писем и записок с адресами”.

И сразу после того, как доставили поэта в узилище (не в первый раз приходилось знаться с тюрьмой, со следователями жестокими — да только видно было, что не обойдётся ныне всё так сравнительно легко, как прежде), составлены были анкеты арестованного и заполнен первый протокол допроса.

Шиваров своей рукой написал лишь клюевский московский адрес. Всё остальное заполнил сам Николай, заполнил дрожащей от слабости рукой. Фамилия, имя, отчество. Год и место рождения (здесь Клюев написал 1887, переправив “четвёрку” на “семёрку”). Местом рождения обозначил “Северный край, г. Архангельск” (эти слова написаны еле-еле — рука с трудом держала казённое перо).

Место службы и должность занятий (так в анкете!): писатель.

Имущественное положение в момент ареста: нет (т. е. никакого “имущественного положения”).

Социальное происхождение: крестьянин (перо совсем выпадало из рук. Слово написано так, что Шиваров был вынужден сверху написать его более разборчиво).

Политическое прошлое: нет (ответ чрезвычайно нетривиальный).

Национальность и гражданство: великоросс (представляю себе, как у Шиварова – болгарина по национальности и интернационалиста по призванию – “вскипела” нервная система от одного этого слова. Самолично написал ниже “русский”).

Партийная принадлежность: здесь уже сам Шиваров поставил прочерк, среагировав на отрицательное движение Клюева. Не упомянул Николай ни о своём вступлении в ВКП(б), ни о последующем исключении.

Образование: грамотный (Шиваров, видимо, следуя утверждению самого Клюева, приписал в скобках: самоучка).

Состоял ли под судом и следствием: судился как политический при царском режиме (вряд ли Клюев думал всерьёз, что этот “пункт” как-то облегчит его положение. Хотя – кто знает?).

Состояние здоровья: болен сердцем.

На фотографии из следственного дела – заросшее щетиной лицо измученного старика. Глаза, полные еле сдерживаемого страдания. И отчётливо заметные на лице следы побоев. Видно, следователь особо себя не ограничивал.

В протоколе допроса упомянуты как близкие родственники брат Пётр и сестра Клавдия. На вопрос об образовательном цензе сначала было указано: “три класса сельской школы”. Потом исправлено: двухклассное уездное училище.

А потом был сам допрос. И касался он не политики, а сугубо интимных вещей.

“Вопрос. К какому периоду относится начало ваших связей на почве мужеложества?”

Ответ: Первая моя связь на почве мужеложества относится к 1901 г<оду>.

Вопрос: Можете ли вы назвать все свои связи на почве мужеложества с этого времени?

Ответ: Это будет мне затруднительно. Легче будет мне назвать мои связи на этой почве за последние годы.

Вопрос: С кем вы поддерживали устойчивые связи на почве мужеложества за последние годы?

Ответ: С Львом Пулиным, проживающим у меня в течение последних 6–7 месяцев. Второе – с Анатолием Кравченко, за период с 1928 года по 1932 год без непосредственного полового акта. Третье – с Львом Груминским в 1927–<19>28 году. Точнее установить этот срок затрудняюсь”.

Поразительный протокол. Настолько поразительный, что практически каждая строчка его кричит: всё неправда! При якобы фактической точности вплоть до хронологии. Но именно эта “точность” вызывает серию скандальных вопросов.

Это каким же образом, позвольте спросить, можно “поддерживать устойчивые связи на почве мужеложества” – “без непосредственного полового акта”? Что это, простите, за *чушь собачья*? Далее – откуда такая скрупулёзность в дате, касающейся “первой связи”? Воспоминание о встрече с “мальцами” на Кавказе? И какое-то странное “затруднение” в установлении срока “связи” с Львом Груминским, надо думать, близким знакомым по ленинградской жизни – при точном обозначении годов “знакомства”...

Проще всего не думать, отмахнуться от этой “грязи”, не пытаться выяснить степень достоверности приведённых ответов. Но – не получается. Ясное же дело, что “спусковым крючком” послужила “информация” Гронского на основании чтения стихов, посвящённых Яру. И это при том, что статьи за мужеложество в уголовном кодексе в это время не было. Она появилась через месяц с небольшим – 7 марта 1934 года.

То, что происходило на самом деле, во многом проясняют воспоминания Анастасии Александровны Пулиной (урождённой Ермаковой), жены Льва Ивановича Пулина, которую тот нашёл в 1936 году в Калининe, находясь там в ссылке. Рассказывала она со слов своего мужа.

“Ещё до ареста Л. И. его вызывали в органы, где предлагали стать осведомителем – доносить о разговорах в тех кругах, где ему приходилось бывать. Били. Однажды продержали (один день) в одиночке с глазком, куда было вставлено дуло пистолета. Арестовали его вместе с поэтом...”

Пулин был в курсе всех последних сочинений Клюева. Во всяком случае, он читал наизусть своей жене стихи цикла “Разруха”, из которых она запомнила несколько строк.

Тугая, неразрывная сеть была сплетена вокруг поэта. Не берусь с уверенностью утверждать, что в “оперативную разработку” не попал и Анатолий, что и с ним не проводилось соответствующих “бесед”. Но набирающий известность художник, уже работающий над сюжетами для парадных картин из советской жизни и портретами вождей (во всяком случае, в начале 1930-х годов), — это одно дело. И совсем другое — студент и начинающий журналист Пулин. Вероятно, с ним обращались без особых церемоний.

Пулин, судя по всему, был поставлен перед жёстким выбором: либо 58-я статья со всеми вытекающими отсюда последствиями — либо 151-я (“Половое сношение с лицами, не достигшими половой зрелости”) — при том что Пулину было 25 лет! — да ещё через 16-ю (“Если то или иное общественно опасное действие прямо не предусмотрено настоящим кодексом, то основание и пределы ответственности за него определяются применительно к тем статьям кодекса, которые предусматривают наиболее сходные по роду преступления”).

Инкриминировать было, по сути, нечего, кроме так называемых “оперативных данных” — и то больше основанных на слухах, чем на реальности. Поэтому-то “дело” Пулина в тот же день и было выделено в “особое” с припиской, что следствие по нему необходимо “продолжать”.

Лев пошёл на компромисс, позорный для себя (впрочем, едва ли он думал и тогда, и через много лет, что эти протоколы выплывут когда-либо из лубянских подвалов), но не “сдал” своего друга, не дал на него никаких дополнительных убийственных показаний. Получив 151-ю через 16-ю, он через два года тюрьмы поселился ссыльным в Калинин, откуда продолжал переписываться с Николаем.

Клюева ждала иная судьба. Он, будучи в тяжелейшем физическом состоянии, не потерял остроты ума и прекрасно понял игру следователя. Главное было — отвести прямую опасность от своих друзей. А там — будь что будет.

В отношении собственной судьбы он не питал никаких иллюзий. Через две недели состоялся второй и последний допрос, проходивший уже в совершенно ином тоне. Ни о какой “интимности” никто не вспоминал — о ней и речи не было. Предметом разговора стали убеждения поэта, у которого политического прошлого якобы “нет”, — зато есть политическое настоящее. Вот оно — в аккуратно собранных и прочитанных рукописях, в оперативных данных, от которых *не отпрётся!*

И Клюев даёт подробные показания. Не показания это даже, а открытая политическая речь, которую следователь, дрожа от возбуждения, еле успевает записывать, сплошь и рядом переиначивая клюевские выражения и разбавляя протокол своими собственными формулировками.

*“Вопрос:* Каковы ваши взгляды на советскую действительность и ваше отношение к политике Коммунистической партии и Советской власти?

*Ответ:* Мои взгляды на советскую действительность, моё отношение к политике коммунистической партии, советской власти определяются моими реакционными религиозно-философскими воззрениями. Происходя из старинного старообрядческого рода, идущего по линии матери от протопопа Аввакума, я воспитывался на древней русской культуре Корсуна, Киева и Новгорода и впитал в себя любовь к древней допетровской Руси, певцом которой я являюсь. Осуществляемое при диктатуре пролетариата строительство социализма в СССР окончательно разрушило мою мечту о древней Руси, отсюда моё враждебное отношение к политике коммунистической партии и советской власти, направленной к социалистическому переустройству страны. Практические мероприятия, осуществляющие эту политику, я рассматриваю как насилие государства над народом, истекающим кровью и огненной болью.

*Вопрос:* Каково выражение находят ваши взгляды в вашей литературной деятельности?

*Ответ:* Мои взгляды нашли исчерпывающее выражение в моём творчестве. Конкретизировать этот ответ могу следующими разъяснениями. Мой взгляд, что Октябрьская революция повергла страну в пучину страданий, бедствий и сделала её самой несчастной в мире, я выразил в стихотворении “Есть демоны чумы, проказы и холеры...”

И Клюев начинает читать. Он не вспоминает ни о цикле “Ленин”, ни о “Песни солнценосца”, ни о “Песни похода”... Не пытается заслониться прошлым. Нет, он идёт до конца... Может быть, в эти минуты укрепляли его дух строки из “Песни о Великой Матери” — слова вещаго деда:

*Почто дружиною поморы  
Не ратят тушинских воров  
Иль Богородицын Покров  
Им домоседная онуча?  
И горлиц на костёр горючий  
Не кличет Финист-Аввакум?  
.....  
Я — князь — и вотчиной родной, —  
Как раб, не кланяюсь Сапеге!  
Моё кормленье от Онеги  
До ледяного Вайгача...*

Услышал он клич Финиста-Аввакума, увидел пламя грядущего костра... Перед глазами встали великомученики, те, что в “Винограде Российском” Семёна Денисова поминаются... Он будет держать свой ответ по их великому примеру.

Перед Шиваровым лежали перепечатанные специально для него стихи “Разрухи”. Тут и доказывать ничего не надо — весь состав преступления налицо. Но что-то дрожало внутри, смесь восторга от следовательской удачи со странным предчувствием чего-то жуткого не давала покоя, когда слушал Клюева, выпевающего тонким пронзительным голосом:

*Вы умерли, святые грады,  
Без фимиама и лампы  
До нестареющих пролетий.  
Плач, русская земля, на свете  
Злосчастней нет твоих сынов,  
И алмазтовый засов  
У врат лечебницы небесной  
Для них задвинут в срок безвестный.*

Клюев читал и, прерывая чтение, продолжал говорить, не сдерживая себя: “Я считаю, что политика индустриализации разрушает основы и красоту русской народной жизни. Причём это разрушение сопровождается страданиями и гибелью миллионов русских людей. Это я выразил в своей “Песне Гамаюна”...”

Более отчётливо и конкретно я выразил эту мысль в стихотворении о Беломорско-Балтийском канале...

Окончательно рушит основы и красоту той русской народной жизни, певцом которой я был, проводимая партией коллективизация. Я воспринимаю коллективизацию с мистическим ужасом, как наваждение...

Мой взгляд на коллективизацию как на процесс, разрушающий русскую деревню и гибельный для русского народа, я выразил в своей поэме “Погорельщина”...

И Клюев читал — о канале, о “чёрте из адской щели”, о том, как “погибал Великий Сиг”... Он был готов принять мученический венец, подобно праотцам, о которых сказано было в “Винограде Российском”, — по многу раз повторял он эти слова огненные про себя наизусть:

“О ужаснаго позора, о нестерпимаго мучения, о всекрепкия твоя помощи, Христе мой, уже Твоим страдальцам всебогатно в терпении подаваеши! Юже народи зряще плакахуся, позорствующии людие всерыдательныя источникы слез изливая, зряще таковыя и толь ужасныя мучительныя позоры: но всепридивнии страдальцы толь тверди, толь благодержновенни и всерадостни являхуся, яко паче злата семи украшахуся, паче анфраза всекрасно процветяху, всекрасно древлецерковное благочестие ясным проповедаше языком...”

А у Шиварова была своя сверхзадача.

“Вопрос: Кому вы читали и кому давали на прочтение цитируемые здесь ваши произведения?”

И Клюев отвечает, называя далеко не всех, а лишь тех, о которых точно знает: их имена следователю известны. Они уже были ему предъявлены на основании “оперативных материалов” – и отпираться здесь было бессмысленно.

“Ответ: Поэму “Погорельщина” я читал, главным образом, литераторам, артистам, художникам. Обычно это бывало и на квартире моих знакомых, в кругу приглашённых ими гостей. Так, я читал “Погорельщину” у Софьи Андреевны Толстой, у писателя Сергея Клычкова, у писателя Всеволода Иванова, у писательницы Елены Тагер, группе писателей, отдохнувших в Сочи у художника Нестерова, и в некоторых других местах, которые сейчас вспомнить не могу.

Отдельные процитированные здесь стихи – незаконченные. В процессе работы над ними я зачитывал отдельные места – в том числе и стихи о Беломорском канале – проживающему со мной в одной комнате поэту Пулину. Некоторые незаконченные мои стихи взял у меня в моё отсутствие поэт Павел Васильев. Полагаю, что в их числе была и “Песня Гамаюна”...”

Невозможно не заметить: в отличие от многих и многих поэтов и писателей, которые уже допрашивались на Лубянке и в других узилищах СССР и которые ещё будут допрашиваться, Клюев ни разу не назвал свои произведения ни “пасквилом”, ни “клеветой”. Сам он – “реакционер”, ладно, пусть такovým его и считают. Но стихи его не подлежат примитивным политиканским определениям.

На этом следствие было закончено. 20 февраля (всё следствие не заняло и трёх недель!) Шиваров составил обвинительное заключение, которое за визирировал своей подписью начальник секретно-политического отдела ОГПУ Г. Молчанов.

“Полагая, что приведёнными показаниями Клюева Н. А. виновность его в составлении и распространении к/р литературных произведений и в мужеложестве подтверждается, постановил считать следствие по делу Клюева Николая Алексеевича законченным и передать его на рассмотрение особого совещания при коллегии ОГПУ”.

А судебная коллегия 5 марта постановила:

“Клюева Николая Алексеевича заключить в исправтрудлагерь сроком на 5 лет с заменой высылкой в г. Колпашев, Западная Сибирь, на тот же срок со 2 февраля 1934 г<ода>. Дело сдать в архив”.

Исправтрудлагеря Клюев бы не вынес – достаточно было бросить на несчастного беглый взгляд, чтобы это понять. Видимо, потому и заменили срок высылкой в Колпашев. В Нарым, исхоженный и изъезженный многими из нынешних, “на заставах команду имеющих”, бывшими ссыльными революционерами, ныне посылающими своих подлинных и мнимых врагов знакомыми маршрутами... В Нарым, напропороченный Клюевым себе самому ещё в начале 1920-х.

\* \* \*

Клюев ещё находился в пути, когда Западно-Сибирское управление НКВД получило следующий документ:

“НАЧ. УСО ПП ОГПУ ЗАПСИБКРАЯ

г. Новосибирск.

В дополнение к № 14 (3444) от 14.3 – 34 года направляется меморандум на Клюева Николая Алексеевича для сведения”.

В этом меморандуме было, в частности, указано, что никаких “ограничений в работе по специальности не требуется”, а на вопрос о пригодности использования “в интересах ОГПУ” уполномоченным дан чёткий и недвусмысленный ответ: “ни в коем случае не рекомендуется”.

Знали, с кем имеют дело.

... На четвёртый месяц после начала тюремного этапа Клюев прибыл в Томск и был заключён в местную тюрьму. Отправил в Ленинград весточку со своим обратным адресом, получил ободряющую телеграмму от матери Яра и ответил ей благодарным письмом:

“Дорогая Лидия Эдуардовна! Получил Вашу драгоценную телеграмму, всем сердцем благодарю за неё. Слова Ваши явились для меня великим уте-

шением и подкрепили меня душевно. На белом свете весна, а я всё за решёткой. Отpravку в Колпашев обещают на 24-е мая, но это не наверно. Больше нет сил, и навряд ли я выдержу, так как здоровье моё очень плохое, и я без съестных передач и какой-либо помощи. В окне светит голубым бархатом май, по-видимому, в здешних краях лучше, чем в Ленинграде. Соседи-сибиряки рассказывают, что в Нарыме есть пчелы, созревает греча и огурцы, множество рыбы, но всё это гадательно, и мне не верится во что-нибудь хорошее на моём пути. Но Бог милостив, быть может, призовет меня скоро в иной край, где нет ни печали, ни воздыхания. В моём настоящем положении это упование — желанная мета и избавление... Прошу Вас узнать, что с моей квартирой в Москве?.. Как здоровье Толи? Как он себя чувствует? Жизнь ему и счастье! Прощайте! Простите!”

О квартире он беспокоился не зря. Через месяц с небольшим была составлена служебная записка № 291477 за подписью помощника начальника УСО ДГУ ГБ Зубкина и начальника камеры хранения той же организации Аксёнова, адресованная в 3 отделение ОПЕРО ДГУ ГБ.

“Просьба вскрыть опечатанную комнату Клюева Н. А. по адресу: Гранатный пер., 12, кв. 2, и всё находящееся в нём (так! — **С. К.**) имущество по описи сдайте на хранение домоуправлению. Комнату передайте в жилотдел Моссовета. По исполнению акт и опись вышлите в УСО ГУ ГБ”.

Подобные бумаги составляются тогда, когда их авторы уверены: бывший жилец в свою комнату уже не вернётся.

Квартира была опечатана печатью ОГПУ, которую сняли лишь 2 августа, когда жильё передали в жилотдел, а имущество и ключи — по описи в домоуправление.

Клюев ничего этого не знал. Наконец, состоялась отправка в Колпашево, до которого и сейчас из Томска на автомобиле ехать нужно целый день. А тогда — несколько дней на подводе с короткими ночёвками, под конвоем.

Унылая, длинная, кажущаяся бесконечной дорога, и лишь изредка радуют глаз встречающиеся селения: Молчаново, Кривошеино, Мельниково... Вот и холм показался, от одного названия которого мороз подрал по коже: “Могильный”... Мост через реку Чаю... И вот, наконец, она — Обь, и паром у причала — другим путём в Колпашево не попадёшь...

31 мая Клюев сошёл на другой берег Оби.

Деревянные тротуары, кержацкие старые двухэтажные купеческие дома из тёмных брёвен (они и поныне стоят на Колпашевских узеньких улочках)... Вот и “шанхайчик” — район, где селились ссыльные — ещё с царских времён... Здесь и предстояло ему найти пристанище. Поначалу Николая поселили в общежитии исполкома, потом — в “шанхайчике”: нашлась крыша над головой в доме № 12 по Красному переулку; дом на четыре семьи, где хозяйкой была некая Панова.

Соседом Клюева был ещё один любопытный ссыльный — бывший эсер, киноактёр Юлий Фердинандович Маротти — первый в России исполнитель роли Овода... Но общего языка с соседями Клюев не нашёл. Вместо того чтобы сидеть дома, предпочитал долгие прогулки — пока хватало сил. Спускался на пристань: с левой стороны виднелась Колпашевская церковь. Оттуда же, с пристани, доходил до Коммунального переулка, где размещалась баня... Письма отправлял с почты, что была на пересечении улиц Ленина и Белинского. А к самому любимому месту — в лесную тишину — уходил по Красному переулку через поле, через деревянные покосившиеся ворота. Там, за полем, за пашней и пастбищем, начинался лес, где уживались друг с другом кедр, сосна и берёза, где выбивали длинные очереди дятлы, и любопытные белки соскакивали со стволов и подбегали чуть ли не под ноги. Теперь на этом месте разбит парк.

...А отмечаться приходилось каждые 10 дней в здании НКВД (так уже стало называться ГПУ за время клюевского “сидения”) на улице Советской, где “принимал” сначала немец Краузе, а потом венгр Иштван Мартон, кроме венгерского и русского, свободно владевший немецким и французским языками, единственный на памяти старожилов, кто общался с ссыльными по-доброму. Клюев писал о нём в одном из писем к Надежде Христовой-Садовой самыми тёплыми словами: “Местное начальство относится ко мне хорошо. Внешне никто меня пока не обижает и не шпыняет. Начальник здешнего ГПУ прямо замечательный человек и подлинный коммунист”... В конце концов,

и этот “подлинный коммунист” был арестован, посажен в тюрьму и освобождён лишь в 1939-м.

Из письма Анатолию Яр-Кравченко 5 июня 1934 года:

“... Кругом нет лица человеческого, одно зрелище — это груды страшных движущихся лохмотьев этапов. Свежий человек, глядя на них, никогда не поверил бы, что это люди. Никакого пейзажа — угрюмая серо-пепельная равнина, над которой всю ночь висит толстый неподвижный туман, не поддающийся даже постоянному тундровому ветру... Гибель моя неизбежная. Я без одежды и без денег... Все четыре месяца я питался хлебом и водой, не всегда горячей... В кособокой лачуге, где ссыльный китаец стрижёт и бреет, я увидел себя в зеркало и не мог не разрыдаться от зрелища: в мутном олове зеркала как бы плавала посыпанная пеплом голова и борода, — жёлтый череп и узлы восковатых костистых рук... Я перенёс воспаление лёгких без всякой врачебной помощи — от этого грудь хрипит бронхитом и не даёт спать по ночам. Сплю я на голых досках под тяжёлым от тюремной грязи одеялом, которое чудом сохранилось от воров и шалманов, — остальное всё украли ещё в первые дни этапов. Мне отвели комнату в только что срубленном баракообразном доме, и за это слёзное спасибо, в большинстве же ссыльные живут в землянках, вырытых своими руками, никаких квартир в Колпашеве не существует, как почти нет и коренных жителей. 90% населения — ссыльные: китайцы, сарты, грузины, цыгане, киргизы, россияне же очень мало, выбора на людей нет. Все потрясающе несчастны и необщительны, совершенно одичав от нищеты и лютой судьбы. Убийства и самоубийства здесь никого не трогают. Я сам, ещё недавно укреплявший людей в их горе, уже четыре раза ходил к водовороту на реке Оби, но глубина небесная и потоки слёз удерживают меня от горького решения. Я намерен проситься в ссылку в Вятскую губ(ернию), ведь там ещё не изгладились следы дорогих для меня ног, или, крайне, в г. Томск, где есть хорошие врачи, но для этого нужно тебе немедленно сходить в Бюро врачебной экспертизы, куда ты водил меня и где мне выдали свидетельство о том, что я — инвалид второй группы, страдаю артериосклерозом, склерозом мозговых сосудов и истерией... Раздобудешь ли ты для меня что-либо тёплое на зиму?... Но предупреждаю, не обижай себя. Мне будет тяжело знать, что я для тебя обуза... Как бы хотелось пролить к тебе сердце своё, высказать, что накопил, но бумага тоже, как жизнь, кончена...”

Из письма Сергею Клычкову 12 июня 1934 года:

“Дорогой мой брат и поэт, ради моей судьбы как художника и чудовищного горя, пучины несчастья, в которую я повержен, выслушай меня без борьбы самолюбия. Я сгорел на своей “Погорельщине”, как некогда сгорел мой прадед протопоп Аввакум на костре пустозёрском. Кровь моя волей или неволей связует две эпохи: озарённую смолистыми кострами и запалами самосожжений эпоху царя Феодора Алексеевича и нашу, такую юную и потому многого не знающую. Я сослан в Нарым, в посёлок Колпашев на верную и мучительную смерть. Она, дырявая и свирепая, стоит уже за моими плечами. Четыре месяца тюрьмы и этапов, только по отрывному календарю скоро проходящих и лёгких, обглодали меня до костей... Посёлок Колпашев — это бургор глины, усеянный почерневшими от бед и непогодиц избами, дотуга набитыми ссыльными. Есть нечего, продуктов нет или они до смешного дороги. У меня никаких средств к жизни, милостыню же здесь подавать некому, ибо все одинаково рыщут, как волки, в погоне за жраньём. Подумай об этом, брат мой, когда садишься за тарелку домашнего супа, пьёшь чай с белым хлебом! Вспомни обо мне в этот час — о несчастном — бездомном старике-поэте, лицеизрение которого заставляет содрогнуться даже приученных к адским картинам человеческого горя спецпереселенцев. Скажу одно: “Я желал бы быть самым презренным существом среди тварей, чем ссыльным в Колпашеве!” Небо в лохмотьях, косые, налетающие с тысячевёрстных болот дожди, немолчный ветер — это зовётся здесь летом, затем свирепая 50-градусная зима, а я голый, даже без шапки, в чужих штанах, потому что всё моё выкрали в общей камере шалманы. Подумай, родной, как помочь моей музе, которой зверски выколоты провидящие очи?! Куда идти? Что делать?.. Помогите! Помогите! Услышите хоть раз в жизни ушами кровавый крик о помощи, отложив на полчаса самолюбование и борьбу самолюбий! Это не сделает вас безобразными, а напротив, украсит всеми зорями небесными!..”

Он молит о помощи, просит узнать, нельзя ли перевести его в другое, не такое гиблое место ссылки. Нельзя ли обратиться к Екатерине Пешковой в Красный Крест, к Горькому, к Бубнову или, может быть, подать Калинин у прошение о помиловании? И – душераздирающий финал письма: “Не ищу славы человеческой, а одного – лишь прощения ото всех, кому я согрубил или был неверен. Прощайте, простите! Ближние и дальние. Мёрзлый нарымский торфяник, куда стащат безгробное тело моё, должен умирить и врагов моих, ибо живому человеческому существу большей боли и поругания нельзя ни убавить, ни прибавить. Прости! Целую тебя горячо в сердце твоё...”

Из письма Надежде Христофоровой–Садомовой 10 июня 1934 года:

“После четырёх месяцев тюремной и этапной агонии я чудом остался живым, и, как после жестокого кораблекрушения, когда чёрная пучина ежеминутно грозила гибелью и океан во всей своей лютой мощи разбивал о скалы корабль – жизнь мою, – доверху нагруженный не контрабандой, нет, а только самоцветным грузом моих песен, любви, преданности и нежности, я выброшен, наконец, на берег. С ужасом, со слезами и терпкой болью во всём моём существе я оглядываюсь вокруг себя. Я в посёлке Колпашев в Нарыме. Это бугор глины, усеянный почерневшими от непогод и бедствий избами... Вот он – знаменитый Нарым! – думаю я. И здесь мне суждено провести пять звериных тёмных лет без любимой и освежающей душу природы, без привета и дорогих людей, дыша парами преступлений и ненависти! И если бы не глубины святых созвездий и потоки слёз, то жалким скрюченным трупом прибавилось бы в чёрных бездонных ямах ближнего болота. Сегодня под уродливой дуплистой сосной я нашёл первые нарымские цветы – какие-то сизоватые и густо жёлтые, – бросился к ним с рыданием, прижал их к своим глазам, к сердцу, как единственных близких и не жестоких. Они благоухают, как песни Надежды Андреевны, напоминают аромат её одежды и комнаты. Скажите ей об этом... Я желал бы быть самым презренным существом среди тварей, чем ссыльным в Колпашеве... Я очень слаб, весь дрожу от истощения и от не дающего минуты отдохновения большого сердца, суставного ревматизма и ночных видений. Страшные тёмные посещения сменяются областью загробного мира. Я прошёл уже восемь демонических застав, остаётся ещё четыре, на которых я неизбежно буду обличён и воплощён сам во тьму. И это ожидание леденит и лишает теплоты моё земное бытие. Я из тех, кто имеет уши, улавливающие звон берёзовой почки, когда она просыпается от зимнего сна. Где же теперь моя чуткость, мудрость и прозорливость? Я прошу Ваше сердце, оно обладает чудотворной способностью воздыхания. О, если бы можно было обнять Ваши ноги и облить их слезами!.. Временно или навсегда, не знаю, я помещён в только что отстроенный дом, похожий на дачный, и в котором можно жить только летом. Углы и конуры здесь на вес золота. Ссыльные своими руками роют ямы, землянки и живут в них, иногда по 15-ть человек в землянке. Попасть в такую человеческую кучу в стужу считается блаженством... Если бы можно было продать мой ковёр, картины или складни, то на зиму я бы грелся живым печужным огоньком. Но как это осуществить? Мне ничего не известно о моей квартире. Хотя бы спасти мои любимые большие складни, древние иконы и рукописные книги!.. Когда я ехал из Томска в Нарым, кто-то, видимо, узнавший меня, послал мне через конвоира ватную короткую курточку и жёлтые штиблеты, которые больно жмут ноги, но и за это я горячо благодарен. Так развёртывается жизнь, так страдною тропой проходит душа. Не ищу славы человеческой, ищу лишь одного прощения. Простите меня, дальние и близкие!.. Одна замечательная русская женщина мне говорила, что дорого мне обойдётся моя пенсия, так и случилось, хотя я и не ждал такой скорой развязки. Но слава Богу за всё! Насколько мне известно, расправа с моей музой произвела угнетающее действие на лучших людей нашей республики. Никто не верит в мои преступления, и это служит для меня утешением... Когда-нибудь в моей биографии чаша воды, поданная дружеской рукой, чтоб утолить алкание и печаль сосновой музы, будет дороже злата и топазия. Так говорят даже чужие холодные люди... Простите, не осудите, и да будет ведомо Вашему сердцу, что если я жив сейчас, то главным образом надеждой на Вашу помощь, на Ваш подвиг доброты и милостыни. На золотых весах вечной справедливости Ваша глубокая человечность перевесит грехи многих. Кланяюсь Вам земно...”

Он с благодарностью упоминает Надежду Обухову, её присылку денег по телеграфу, сравнивает её с “Русскими женщинами” Некрасова, к которому по-

стоянно декларировал свою нелюбовь... Снова пишет о Калининe, которому "подавал из Томска заявление о помиловании, но какого-либо отклика не дождался. Не знаю, было ли оно и переслано..." Томское заявление не найдено, но сохранилось в архиве Сергея Клычкова заявление, написанное в Колпашеве 12 июля 1934 года во Всероссийский Центральный Исполнительный комитет:

"После двадцати пяти лет моей поэзии в первых рядах русской литературы я за безумные непродуманные строки из моих черновиков, за прочтение моей поэмы под названием "Погорельщина", основная мысль которой та, что природа выше цивилизации, сослан Московским ОГПУ в Нарым на пять лет.

Глубоко раскаиваясь, сквозь кровавые слёзы осознания нелепости своих умозрений, невыносимо страдая своей отверженностью от общей жизни страны, её юной культуры и искусства, я от чистого сердца заявляю ВЦИКомитету следующее:

"Признаю и преклоняюсь перед Советовластием как единственной формой государственного устройства, оправданной историей и прогрессом человечества!"

"Признаю и преклоняюсь перед партией, всеми её директивами и бессмертными трудами!"

"Чту и воспеваю Великого Вождя мирового пролетариата товарища Сталина!"

Обязуюсь и клянусь все силы своего существа и таланта отдать делу социализма.

Прошу помилования.

Если же помилование ко мне применимо быть не может, то усердно прошу о смягчении моего крайне бедственного положения...

Если я недостоин помилования, то усердно прошу уменьшить мне срок ссылки, дать минус шесть или минус двенадцать без прикрепления к одному месту.

Всё это спасло бы меня от преждевременной смерти и дало бы мне, переживающему зенит своих художнических способностей, возможность новыми песнями искупить свои поэтические вины..."

Это заявление было переслано в Москву Сергею Клычкову для дальнейшей передачи по инстанции. Жена Сергея Варвара Горбачёва показывала его Ахматовой, которая привела несколько строк из него по памяти в "Листках из дневника".

Из письма С. А. Толстой-Есениной 17 июня 1934 года.

"...Поговорите с богатыми писателями и с моими почитателями – ведь их у меня недавно было немало. Я погибну в Нарыме без милостыни со стороны, без одежды, без пищи и копейки. Поговорите с В. Ивановым, Леоновым! Нельзя ли написать Шолохову и Пантелеймону Романову, Смирнову-Сокольскому. Если будет исходить просьба от Вас – они помогут... Сходите к Антонине Васильевне Неждановой... Поговорите с ней обо мне – и о том, чтоб она поговорила с Горьким – об облегчении моего положения... Они давно знакомы – ещё по Италии, когда Алексей Макс(имович) был там в изгнании. Объясните Неждановой просьбу: убавить срок ссылки (дано пять лет по 58-10 статье за поэму "Погорельщина" и агитацию ею). Дать минус шесть или даже двенадцать без прикрепления к месту ссылки. Оставить мне мою писательскую пенсию, просить ГПУ передать мои рукописи в архив Оргкомитета писателей... Обрадовали бы, если бы соорудили посылочку – чаю, сахару, сухарей из белого хлеба, компоту от цинги, – простите, но я так тоскую по всему этому! Здоровье моё сильно пошатнулось. Теперь бы вы меня и не узнали бы – такой я стал... Помогите, родимая, простираюсь к Вам сердцем своим, целую Ваши ноги и плачу кровавыми слезами..."

Из письма Алексею Толстому:

"Алексей Николаевич, – после двадцати пяти лет моей поэзии в первых рядах русской литературы, я за чтение своей поэмы "Погорельщина" и отдельные строки моих черновиков, за слова моих стихотворных героев сослан в жестокую Нарымскую ссылку, где без помощи добрых людей неизбежно должен погибнуть от голода и свирепой нищеты. Помогите мне ради моей судьбы – как художника и просто живого существа. Умоляю о съестной посылке. Деньги только телеграфом..."

Идут письма Николаю Голованову, Вячеславу Шишкову и Павлу Васильеву: “Дорогой поэт – крепко надеюсь на твою милостыню. Помоги несчастному. Отплачу сторицей в своё время. Русская поэзия будет тебе благодарна”... Достоверно известно, что Клычков, его жена, Анатолий, Нежданова, Обухова присылали ему деньги и вещевые передачи, делали всё, чтобы облегчить его участь, и Николай не уставал их благодарить за помощь и поддержку.

А 15-м июня датируется его письмо, обращённое в бывший Политический Красный Крест, ныне – Общество помощи политическим заключённым, к Екатерине Павловне Пешковой.

“Двадцать пять лет я был в первых рядах русской литературы. Неимоверным трудом, из дремучей поморской избы вышел, как говорится, в люди. Моё искусство породило целую школу в нашей стране. Я переведён на многие иностранные языки, положен на музыку самыми глубокими композиторами. Покойный академик Сакулин назвал меня “Народным золотцветом”, Брюсов писал, что он изумлён и ослеплён моей поэзией, Ленин посылал мне привет как преданнейшему и певучему собрату, Горький помогал мне в материальной нужде, ценя меня как художника. За четверть века не было ни одного выдающегося человека в России, который бы прошёл мимо меня без ласки и почитания. Я преследовался царским правительством как революционер, два раза сидел в тюрьме, поступаясь многими благами жизни. Теперь мне пятьдесят лет, я тяжело и непоправимо болен, не способен к труду и ничем, кроме искусства, не могу добывать себе средств к жизни...”

Кроме просьб о материальной помощи, об оставлении пенсии, о содействии в охране имущества в Москве, он просит о главном: перевести его из Нарымского края “в отдалённый конец быв(шей) Вятской губернии, в селение Кукарку, в Уржум или Краснококшайск, где отсутствие железных дорог и черемисское население, мало знающее русский язык, в корне исключают возможность разложения его моей поэзией, но где умеренный сухой климат, наличие жилища и основных продуктов питания, неимение которых в Нарыме грозит мне прямой смертью...”

Это обращение продлило ему жизнь, помогло, в конце концов, вырваться из Колпашева, грозившего неминуемой близкой гибелью.

\* \* \*

Бытовые тяготы и нищенская жизнь не угасали его духа. В первой половине июня он пишет письмо Яру, где сообщает о новой, только что написанной поэме.

“...Крепко надеюсь на милостыню. Написал поэму – называется “Кремль”, но нет бумаги переписать. Как с поэмой поступить – посоветуй! Жизнью и смертью обязан твоему милосердию... Вероятно, я зимы не переживу в здешних условиях. Прошу о письме. О новостях, об отношении ко мне. “Кремль” я писал сердечной кровью. Вышло изумительное и потрясающее произведение. Где живёте летом? Райское место – этот городок Горбатов на р. Оке, весь в вишнях и фруктах. Жители только садами и промышляют. У меня много нужды – всего не перескажешь – получу ответ на это, напишу большое письмо. Но сгораю предчувствием твоего письма. Прощайте. Простите!”

Городок Горбатов на Оке... Это воспоминание о давнем путешествии, о том, как в этом садовом раю Клюев впервые был арестован местной полицией в 1899 году. Документы, посвящённые этому событию в его жизни, хранились одно время в Государственном архиве Российской Федерации, но потом исчезли в неизвестном направлении.

Не случайно в гибельной Нарымской ссылке вспомнился этот городок. Вспомнилось самое начало хождения по тюремным мукам.

“Кремль” упоминается и в других письмах к Яру в таких выражениях, в каких Клюев не говорил и не писал ни об одном своём произведении.

“... Иногда собираюсь с рассудком и становится понятным, что меня нужно поддержать первое время, авось мои тяжёлые крылья, сейчас влачащиеся по земле, я смогу поднять. Моя муза, чувствую, не выпускает из своих тонких перстов своей славянской свирели. Я написал, хотя и сквозь кровавые слёзы, но звучащую и пламенную поэму. Пришлю её тебе. Отдай перепеча-

тать на машинке, без опечаток и искажений, со всей тщательностью и усердием, а именно так, как были напечатаны стихи, к титульному листу которых ты собственноручно приложил мой портрет, писанный в Вятке на берегу с цветами в руках — помнишь? Вот только такой и должна быть перепечатка моей новой поэмы... Прошу тебя запомнить это и потрудись для моей новой поэмы, на которую я возлагаю большие надежды. Это самое искреннейшее и высоко зовущее моё произведение. Оно написано не для гонорара и не с ветра, а оправдано и куплено ценой крови и страдания. Но всё, повторяю, зависит от того, как его преподнести чужим, холодным глазам...

“...Быть может, скоро кончится путь мой земной, а пока жив я — потрудись устроить мою поэму “Кремль”, ибо такие вещи достойны всяческого внимания и могут быть созданы только в раю или на эшафоте, раз за жизнь поэта.

... “Кремль” — роковое моё произведение. Ты, конечно, это понимаешь без пояснений. Не давай рукописи никому, пока не перепечатаешь. Рукопись непременно украдут, и даже продадут. Если можно, прочитай её не торопясь и не захлёбываясь, собранию поэтов и нужных людей, но ни на один час не оставляй её ни у кого на руках, чтобы не наслышалось на неё клеветы и злых мнений, что очень может мне навредить. Если какой-либо журнал захотел <бы> “Кремль” напечатать, то договорись о гонораре по высшей ставке, так же и в отдельном издании. В моём голоде и нищете это очень важно. Ах, если бы напечатали! Я бы купил отдельную землянку, убрал бы её по-своему с пушкинским расколотым корытом — и умер бы, никого не кляня. Дитя моё, помоги! Потрудись, похлопочи!.. Но главное — ни по какой усердной просьбе и никому не давай на дом рукописи!!!”

Внимательное чтение поэмы, опубликованной лишь через почти что 70 лет после создания, убеждает в том, что опасения Николая не были напрасными.

\* \* \*

В 1942 году, будучи в лагере для русских немецкого происхождения в Конице, в Западной Пруссии, Иванов-Разумник писал статьи для берлинской русскоязычной газеты “Новое слово”. Одну из статей он посвятил персонально Ключеву. Шла там речь, в частности, и о “Кремле”, с которым критик познакомился через посредничество Анатолия Яра.

“Сломленный нарымской ссылкой и томской тюрьмой, ...Ключев пал духом и попробовал вписаться в стан приспособившихся. В 1935 году он написал большую поэму “Кремль”, посвящённую прославлению Сталина, Молотова, Ворошилова и прочих вождей; поэма заканчивалась воплем: “Прости иль умереть вели!” Не знаю, дошла ли поэма “Кремль” до властителей Кремля, но это приспособленчество не помогло Ключеву: он оставался в ссылке до конца срока, до августа 1937 года.

К слову сказать: поэзия не терпит неискренности и насилия. Вымученный “Кремль”, если бы он даже сохранился, не прибавил бы лавров в поэтический венок Ключева; а он мог и не сохраниться, как и всё поэтическое наследие Ключева этих последних годов жизни”.

Ссылаясь на Иванова-Разумника, примерно в том же тоне отозвался о “Кремле” первый публикатор Ключева в США и в Германии Борис Филиппов: “Кремль” пропал бесследно, но это — самая лучшая участь для вымученного и фальшивого панегирика жертвы палачу”...

Но уже когда поэма появилась в печати в 2006 году благодаря самоотверженному труду над ключевским архивом, сохранённым Анатолием Яром, — труду его дочери Татьяны и питерского литературоведа Александра Ивановича Михайлова, — когда в Томске вышла книга “Наследие комет” с перепиской поэта и художника и полным текстом “Кремля” — даже тогда возник соблазн “вписать” Ключева в реестр “приспособившихся”, пусть и поневоле, а “Кремль” сопоставить со стихотворными хвалами Сталину Осипа Мандельштама и Бориса Пастернака. Во всяком случае — определить для поэмы некий “ранжир”. Этим ощутимым стремлением продиктовано большинство статей в сборнике, специально посвящённом “Кремлю”, выпущенном Томским государственным университетом 5 лет назад.

Нет, не похожа эта поэма на “панегирик жертвы палачу”...

*Кремль озарённый, вновь и снова  
К тебе летит беркутом слово  
Когтит седое вороньё!  
И сердце вещее моё  
Отныне связано с тобою*

*Певучей цепью заревою, —  
Оно индийской тяжкой ковки,  
Но тульской жилистой сноровки,  
С валдайскою залётной трелью!..*

Клюев, по сути, не изменяет себе, не ломает своей поэтики, он во всеоружии своего всегдашнего красочного слова, которое выпускает беркутом к Кремлю — “когтит седое вороньё”... И здесь мы волей-неволей возвращаемся и к циклу “Ленин”, где впервые появляется это сакральное слово — “Кремль”.

*В желтухе Царь-град, в огневице Калуга,  
Покинули Кремль Гермоген и Филипп,  
Чтоб тигровым солнцем лопарского юга  
Сердца врачевать и молебственный хрип.*

Тогда врачевателями стали патриарх-мученик, уморенный голодом во время польского нашествия, и митрополит, выступивший против казней, учинённых Иваном Грозным и задушенный Малютой Скуратовым... Теперь же — сам поэт, ссыльный и измученный, но возрождающийся на глазах, “когтит седое вороньё” в самом Кремле... Но через что нужно пройти, что преодолеть, дабы выполнить эту завещанную миссию?

*Русь Калиты и Тамерлана  
Перу орлиному не в сусло, —  
Иною киноварью взгусло  
Поэта сердце, там огонь  
Лесным пожаром гонит сонь,  
Сварливый хворост и валежник.  
И, улыбаясь, как подснежник,  
Из пепла серебрится Слово, —  
Его история сурово  
Метлой забвенья не сметёт,  
А бережно в венок вплетёт  
Звенящим выкупом за годы,  
Когда слепые сумасброды  
Меня вели из ямы в яму,  
Пока кладбищенскую раму  
Я не разбил в крови и вопи,  
И раскалённых перлов копи  
У стен кремлёвских не нашёл...*

Все призраки костлявой, воплощавшейся в жуткие образы на протяжении последних лет, отринуты. Живая жизнь весенним подснежником вырастает из могильного пепла, кажется, уже похоронившего поэта... Но это воскресение требует платы. Платы — “Русью Калиты и Тамерлана”, ибо новая жизнь властно выступает в гармонии с некогда столь ненавидимым железом.

*Поэт, поэт, сосновый Клюев,  
Шаман, гадатель, жрец избы,  
Не убежать и на Колгуев  
От электрической судьбы,  
И европейских ветродуев  
Не перемогут лоси лбы!  
Как древен вой печной трубы  
С гнусавым вороном-метелью!..  
Я разлюбил избу под елью,*

*Медвежьи храпы и горбы,  
Чтоб в буйный праздник бороньбы  
Индустриальной юной нивы  
Грузить напевы, как расшивы,  
Плодами жатвы и борьбы!*

.....  
*Мои поэмы — алконосты,  
Узорны, с девичьим лицом,  
Они в затишье костромском  
Питались цветом гоноболи.  
И русские — чего же боле?  
Но аромат чужих магнолий  
Умеют пить резным ковшом  
Не хуже искромётной браги.  
Вот почему сестре-бумаге  
Я поверяю тайну сердца,  
Чтоб не сочли за иноверца  
Меня товарищи по стали  
И по железу кумовья...*

Эту поэму невозможно понять, если видеть в ней либо панегирик власти, либо мольбу о прощении, либо стихотворное воплощение мотива покаяния, который выражен в заявлении во ВЦИК, приведённом выше... В ней совершается одновременно грандиозный переворот в самом поэте, соединение некогда не соединимого — природной стихии с железно-государственной, возрождение поэта к новой жизни через плач по старой — и утверждение себя всегдашнего, хранителя и накопителя мировых художественных сокровищ... Пушкинское “чего же боле?” здесь тем более к месту, пушкинскими мотивами пронизан весь “Кремль” — реминисценции из “Пророка”, “Полтавы” и “Медного всадника” бисером рассыпаны по всему стихотворному полотну... И если в “Песни о Великой Матери” вместо бронзового Петра в далёком будущем “Егорий вздыбит на граните наследье скифских кобылиц”, то ныне “императорское дело”,

*Презрев венец, свершил простой  
Неколебимую рукой,  
С сестрой провидящей морщиной,  
Что лоб пересекла долиной,  
Как холмы Грузии родной.*

Императорское дело... Пятнадцать лет назад поэт пророчествовал о наступлении послереволюционного Апокалипсиса.

*...Мы очнёмся в Красном Содоме,  
Где из струн и песен шатры.*

*Где русалкою Саломия  
За любовь исходит в плясне...  
Обезглавленная Россия  
Предстаёт, как поэма, мне.*

Это после упований на победу “керженского духа” в революционной стихии. Красный Содом отбушевал — и перед глазами поэтов выросла цветущая “кремлёвская скала”, пред которой он складывает свои поэтические дары. Новая империя, пред которой невозможно не склонить голову.

Но Клюев и склоняет её по-своему:

*У потрясённого Кремля  
Я научился быть железным  
И воску с деревом болезным  
Резец с оглядкой отдаю,  
Хоть прошлое, как сад, люблю, —  
Он позабыт и заколочен,*

*Но льются в липовые очи  
 Живые продухи лазури! —  
 Далёкий пасмурья и хмури,  
 Под липы забредёт внучонок  
 И диких ландышей набрать...  
 Я прошлым называю гать  
 Своих стихов, там много дупел  
 И дятлов с ландышами вкупе...  
 Опять славянское словцо!  
 Но что же делать беззаконцу,  
 Когда карельскому Олонцу  
 Шлёт Кострома “досель” да “инде”,  
 И убежать от пёстрых индий  
 И Маяковскому не в пору?!  
 Или метла грустит по сору,  
 Коль на стихи дохнул Багдад  
 И липовый заглохший сад  
 Тёмно-зелёною косынкой?..  
 Знать, я в разногололье с рынком,  
 Когда багряному Кремлю  
 По стародавнему “люблю”  
 Шепчу, как ветер кедрю шепчет  
 И обнимает хвои крепче,  
 Целует корни и наросты!..*

И здесь — хочешь, не хочешь, — но придут на память строки из давней уже книги: “...плакучая ива с анчарным ядом в стволе...” “Ива” льёт слёзы по не по старой (хоть и уверяет в том власть) — но по вечной русской жизни, о коей свидетельствуют и сами строки... Здесь в пору и “славянское словцо”, и “пёстрые индии”, и “стародавнее “люблю”, и сакральный клюевский Багдад, “дохнувший” на стихи.

Хорошенькое, однако, покаяние!

И этого мотива не заглушить ни приятием железа, ни описанием “чудесного канала” — ещё недавно “смерть-канала”! — на который дивятся, “как лопарки”, обонежские сосны, ни песней “колхозной вспашки у ворот” (удостоенной недавно лишь дьявольского рёва!), ни восхищением первомайским парадом, возглавляемым Климом Ворошиловым, ни произносимым даже не по слогам, а по буквам (!) фамилиям вождей... “Кормчий Сталин”, что “пучину за собой ведёт” в финале поэмы слишком явно соотносится с “Красным Кормчим” Лениным Ильи Ионовна, что выявляет явный подтекст (уже для немногих понятный) оглядки Клюева на себя самого середины 1920-х, Клюева “Новых песен”, когда он попытался по-своему принять реалии нового времени и нового советского Питера... Когда его “кузнец Вавила” стоял с молотом, занесённым надо всем, “что мило ярому вождю”... Тогда реальность преобразалась мифом... Теперь же всё окружающее неумолимо-реалистично: Русь должна “научиться быть железной”, дабы выстоять в мировых вихрях, в грядущих потрясениях, до которых осталось слишком мало времени... Как писал тридцать с лишним лет спустя хорошо знавший поэзию Клюева Ярослав Смеляков:

*Чтоб ей вперёд неодолимой быть,  
 готовилась крестьянская Россия  
 на голову льняную возложить  
 большой венок тяжёлой индустрии.*

При всей простоте и ясности этих стихов — закрадывается вопрос: не ассоциировал ли подсознательно поэт этот “большой венок” с терновым венцом, возложенным на главу Христа перед распятием и Воскресением?

...И всё же — в чём кается перед советским Кремлём Клюев?

*...Я виновен  
 До чёрной печени и крови,  
 Что крик орла и бурю крыл  
 В себе лежанкой подменил,*

*Избою с лестовкой хлыстовской  
И над империей петровской,  
С балтийским ветром в парусах  
Поставил ворогу на страх  
Русь Боголюбского Андрея! —  
Но самоварная Расея,  
Потея за фамильным чаем,  
Обозвала меня бугаем,  
Николушкой и простецом,  
И я поверил в ситный гром,  
В раскаты чайников пузатых, —  
За ними чудились закаты  
Коринфа, царства Монтесумы  
И протопопа Аввакума  
Крестообразное горелье —  
Поэту пряное похмелье  
Живописать огнём и красью!..*

Нет, не случайно Клюев просил Анатолия прочесть поэму “не торопясь и не захлёбываясь собранию поэтов и нужных людей”, но не оставлять её ни у кого в руках и никому не давать на дом! Перетолкований и лжетолкований смысла начитанного могла быть масса! Поэма обросла бы вредоносными наслоениями, из-под которых к смыслу пробиться было бы уже невозможно.

“Не хочу коммуны без лежанки” — эта своего рода “визитная карточка” Клюева прилепилась к нему уже безотрывно... Тут загадок нет. А “Русь Боголюбского Андрея”, поставленная ворогу на страх, — это узел прелюбопытнейший. Сын Юрия Долгорукого, участвовавший во многих боях и походах, Андрей Боголюбский, отличавшийся великой любовью к Слову Божию, по его собственному признанию, “белую Русь городами и сёлами застроил и многолюдною сделал”... Ему же были явлены чудеса от святой иконы Божьей Матери, он же воздвиг тридцать храмов во Владимире, где, по слову летописца, “и болгаре, и жидове, и вся погань, видевше славу Божию и украшение церковное, крестились”... Он же ознаменовал своё княжение завоеванием великого волжского пути, объединил русские земли Киева и Новгорода под своей властью и принял мученическую кончину от рук изменников в Боголюбове... Очевидной становится при воспоминании о деяниях князя Андрея связующая нить, которую тянет Клюев от Древней Руси к железной современности... Но и это ещё не всё.

“Ситный гром” и “раскаты чайников пузатых” явно переключаются с громами первомайских парадов и “индустриальной юной нивы”... Поэт-то кается, но этот “гром” и эти “раскаты”, Коринф, царство Монтесумы и кончину огнепального протопопа никакая современность отменить не может! Более того, всемирный размах клюевского пера, его титаническая суть: “Я — сам земля, и гул пещерный, шум рощ, литавры водопада...” — явно переключаются с аввакумовским: “И лежащу ми на одре моем... распространился язык мой и бысть велик зело, потом и зубы быша велики, потом и весь широк и пространен под небесем по всей земле распространился, а потом Бог вместил в меня небо, и землю, и всю тварь... Так добро и любезно мне на земле лежати и светом одеяну и небом прикрыту быти; небо мое, земля моя, свет мой и вся тварь...” — и соответствуют всемирному размаху сталинской империи, которая ещё не подозревает об этом соответствии. Вот почему “товарищи по стали и по железу кумовья” не должны счесть Клюева “за иноверца”...

То есть вина его в утверждении в современности “Руси Боголюбского Андрея”, Коринфа и царства Монтесумы — не такая уж и вина на поверку. Но в чём же он всё-таки виновен?

А вот в чём:

*Пятидесятый год отметил  
Зарубкою косяк калитки.  
В тайник, где золотые слитки  
И наговорных перлов короб  
С горою песенных узоров,  
Художника орлиный норов  
Когтить лазурь и биться с тучей*

*Я схоронил в норе барсучьей...  
 И мозг, как сторож колотушкой,  
 Теленькал в костяной избушке:  
 “Молчи! Волшебные опалы  
 Не для волчат в косынках алых! —  
 Они мертвы для Тициана,  
 И роза Грека Феофана  
 Благоухает не для них! —  
 Им подавай утильный стих,  
 И погремушка пионера  
 Кротам — гармония и вера!”*

Неверие в молодое поколение, которое пробавляется лишь “утильным стихом”, — вот главная его вина! А ведь “роза Грека Феофана” — не его лишь личное достояние. Он на короткое время возомнил себя единственным хранителем духовных сокровищ Древней Руси — и кается ныне в этом перед “величием Кремля”, к которому обращены взоры и сердца тех, кто хором запоёт на Красной площади: “Бригада нас встретит работой, и ты улыбнёшься друзьям, с которыми труд и забота, и встречный, и жизнь — пополам” и “Нам ли стоять на месте? В своих дерзаниях всегда мы правы!” Он и перед ними, внимающими “погремушке пионера”, разворачивает галерею поэтов, которые — пройдёт время — будут стоять рядом на книжных полках, оставив в истории свои жестокие и кровавые стычки. Здесь и Клычков, что “поёт одетые в лазури тверские скудные поля”; и Маяковский-“злодей”, что “родную пятилетку рядит в стальное ожерелье”; и Прокофьев — “баян от Ладоги до Лаче”, о котором Клюев некогда писал Яру, что его “физиономия кирпича просит”; и “Мандельштама старый дом”; и “лоза лиловая и вдовья” Всеволода Рождественского, о котором говорил, что словесные части его стихов “размерены циркулем”; и “Пастернак — трава воловья”... И единственное исключение делает (вот как сыграла память!) для всеми читаемого, переписываемого, передаваемого из рук в руки Сергея Есенина.

*В луга с пониклою ромашкой  
 Рязанской ливенкой, с размашкой  
 Ты не зови меня, Есенин!  
 Твой призрак морочно-весенний  
 Над омутом вербой сизеет  
 С верёвкой лунною на шее,  
 Что убегает рябью в глуби...  
 .....  
 Не снился вербе сизокрылой  
 Букварь волшебный, потому  
 Глядеться ей дуплом во тьму,  
 Роняя в лунный ковши барашки!  
 Прости малиновой рубашке  
 И костромскому лапотку,  
 Как на отлёте кулику,  
 Кувшинке-нянюшке болотной —  
 Тебе ли поминать охотно,  
 Ветла плакучая Рязани?!  
 “Смешного дуралея” в сани  
 Впрягли, и твой “Сорокоуст”  
 Блинами паюсными пуст,  
 И сам ты под бирючий вой  
 Пленён старухой костяной, —  
 Она в кладбищенской землянке  
 Сшивает саван в позаранки...*

Поверхностно прочтя эти строки, можно подумать, что Клюев пишет о массовом соблазнении молодёжи есенинскими стихами, которые он слушал в декабре 1925-го в “Англетере” и о которых пророчествовал, что будут они настольным чтением для нежных юношей и девушек России (в дурную минуту однажды бросил про Есенина: “От зависти стал романсики пописывать”)...

Можно подумать также, что в подтексте речь идёт и о массовых самоубийствах в молодёжной среде сразу после гибели Есенина, которого Клюев оставляет в далёком прошлом, подобно его жеребёнку — “милому смешному дуралею”... И вторгшаяся в поэму есенинская строчка о “ладожском дьячке”, кажется, свидетельствует о злопамятности Клюева, ибо накрепко прирос к нему этот “дьячок” как у современников, так и у потомков... Но на самом деле это, по сути, ответ на “Ключи Марии”: Есенин ещё тогда, в 1918-м, оставлял Клюева в прошлом: “Уходя из мышления старого капиталистического обихода, мы не должны строить наши творческие образы так, как построены они хотя бы, например, у того же Николая Клюева...” И — далее, после цитаты из “Беседного наигрыша”: “Этот образ построен на заставках стёртого революцией быта. В том, что он прекрасен, мы не можем ему отказать, но он есть тело покойника в нашей горнице обновлённой души и потому должен быть предан земле”... Вот на что отвечает Клюев почти через два десятилетия, поминая подспудно и “Беседный наигрыш” — “избу под елью”, которую он “разлюбил” при видении Кремля. Выходит, что Есенин остался со своим “жеребёнком” (как будто не желал потом “задрать штаны, бежать за комсомолом”), а Клюев ушёл в будущее от избы, во всяком случае, от той “избы”, с которой связан был определённый подтекст у насельников Кремля.

Жестоко? Да. Несправедливо? Безусловно. И Клюев сам это, очевидно, почувствовал, ибо в декабре 1936 года уже из Томска писал Яру: “Вышли мне “Кремль” для переделки. Это очень важно!...” Возможно, он хотел более тщательно обработать поэму, в том числе и в части, касающейся Есенина. Но, насколько известно, текста “Кремля” он от Яра не получил.

“Кремль” не столько поэма покаяния и мольбы о прощении (даром, что в финале звучит уже упомянутое “Прости иль умереть вели!” — и эти же слова звучат в “Фугах великой стройки”, упоминанием о которой Клюев завершает своё грандиозное полотно), сколько поэма приятия нового времени, единения с ним... И здесь приходят на память страницы романа Мельникова-Печерского “На горах” — второй части его великой дилогии, когда отец Прохор, служащий по новому обряду, присылает Дуне письмо перед её вступлением в супружескую жизнь: “А особенно утешили вы меня тем, — писал отец Прохор, — что свадьбу желаете справить в единоверческой церкви (напомню, что уже несколько лет Клюев окормлялся в единоверии. — С. К.) и потом остаться в оной навсегда, а зловерный раскол всесовершенно откинуть и, оградясь истинною верой, до смертного часа пребывать отчуждённою от душепагубного раскола. Хотя и немало соблезную я тому, что не вошли вы прямо во спасительную ограду святой церкви, но и тому несказанно рад, что вошли, так сказать, в церковное средостение...” Это письмо Дуня читает жениху, воспитанному в староверии, как и она сама, — и далее между ними звучит следующий диалог:

— Вот как, — выслушав письмо отца Прохора, молвил Пётр Степаныч. — С никонианскими попами в переписке.

— Что ж? — сказала Дуня. — Этот самый священник сказывал мне, что разница между нами и великороссийскими в одном только наружном обряде, а вера и у нас, и у них одна и та же, и между ними нет ни в чём разности. А вот Герасим Силыч все веры превзошёл, и он однажды говорил мне, что сколько вер он ни знает, а правота в одной только держится.

— В какой же? — с любопытством спросил Самоквасов.

— В великороссийской, — ответила Дуня.

— В великороссийской, — сказал Пётр Степаныч и крепко задумался.

— Я сам тех же мыслей, — тихонько молвил он невесте.

— А давно ли? — спросила Дуня.

Но разговор тем и кончился”.

Клюева было бы бессмысленно спрашивать — “давно ли?”. Он и не услышал бы подобного вопроса.

Изначально с Советской властью он был согласен в главном — в том, что ещё раз подчеркнул в “Кремле”: в убеждении, что наступит время,

*Когда свирепый капитал  
Уйдёт во тьму к чертям на бал!*

В августе 1934 года в Москве проходил Первый всесоюзный съезд советских писателей. В “Спецсообщении секретно-политического отдела ГУГБ НКВД СССР”, содержащем, в частности, высказывания писателей по поводу доклада Николая Бухарина “Поэзия, поэтика и задачи поэтического творчества в СССР”, упоминалось, в частности, и о Клюеве:

“Поэт Николай Асеев получил адресованное через президиум съезда письмо от брата адм(инистративно) ссыльного поэта Николая Клюева Петра Клюева, в котором тот просит оказать помощь для облегчения положения Николая Клюева. Судя по содержанию письма, Асеев не единственный адресат”.

Пётр Клюев в письме, датированном 19 августа 1934 года, писал: “...ваш товарищ, а мой брат Николай Алексеевич Клюев, поэт, сейчас в ссылке. Это-то отправлен около 3 мая, находится в Колпашеве Западной Сибири, Нарымского края... Теперь Николаю Клюеву очень тяжело. Написал мне о срочной ему помощи, что-либо сделать для облегчения его положения я не могу. Обращаюсь к Вам, уважаемый поэт, – помогите Николаю, чем можете. Объявите, кому следует. Может быть, можно его из ссылки вернуть. Суровая действительность покарала его, не поняв. Я лишь удивляюсь, что при царском режиме Николай, сидя в тюрьме, отвергал всё неестественное, а тут произошло что-то непонятное для меня. Он посажен – выслан за поэму. За какую – я не знаю... Мне бы не хотелось его смерти в Нарымском крае с его суровыми морозами...”

Судя по всему, Пётр, далёкий в последние годы от своего брата, узнав из письма Николая о происшедшем, обратился в президиум писательского съезда.

На самом съезде царила весьма приподнятая атмосфера. Делегаты вершили суд над Достоевским, которого Горькому было “легко представить в роли средневекового инквизитора” и которого Виктор Шкловский предлагал “судить, ...как изменника” от имени людей, “которые отвечают за будущее мира”. Призывалось “выкорчёвывать до основания из сознания читателя националистические и индивидуалистические образы”. Объявлялось, что “религия держит ещё и сегодня в плену миллионные массы во всём мире; религия является и сейчас орудием фашизма, и надо выбивать это орудие, надо показать, как революция разрушает эту страшную силу власти религии”. Утверждалось, что Толстой и Достоевский вместе с Ницше были “колоннами”, поддерживающими старый несправедливый мир, и писатели призывались “дать бой” – и “это будет бой с титанами, который по плечу лучшим художникам старого времени”, ибо “идеи таких титанов, как Толстой, Достоевский, Ницше” являются “теми высочайшими Гималаями идей старого мира, с которых в наши дни мутными ручьями стекают идеи фашизма и пацифизма”... Бруно Ясенский вещал, что “если лубочный Христос бедняков, выдуманный для них хозяином, прощал их за то, что они любили, я думаю, что наш великодушный победоносный пролетариат простит нас за то, что мы ненавидели и в ненависти нашей доходили до иступления...” Сергей Третьяков сообщал высокому собранию, что есть “тонкая отравка”, которая “воспитана культом Достоевского, Чехова, Толстого, это – представление о “народе-богоносце”, о стихийном бунтаре, об интеллигентских хлюпиках...” Николай Погодин, вдохновлённый впечатлениями от Беломорканала, солидаризировался с Горьким, который не представлял, “чему бы мог поучиться у Островского современный молодой драматург”... В общем, им не было преград ни в море, ни на суше. Они шли “против шерсти мировой литературы”, они, “единственные гуманисты мира”, требовали новых Гомеров и Шекспиров и были уверены, что достигнут этих вершин в борьбе с отечественным литературным “провинциализмом”.

Своеобразным и выбивающимся из общего контекста стало выступление Юрия Олеши, который “представил себя нищим. Очень трудную горестную жизнь представил я себе – жизнь человека, у которого отнято всё. Воображение художника пришло мне на помощь, и под его дыханием голая мысль о социальной ненужности стала превращаться в вымысел, и я решил написать повесть о нищем. Вот я был молодым, у меня было детство и юность. Теперь я живу, никому не нужный, пошлый и ничтожный. Что же мне делать? И я ста-

новлюсь нищим, самым настоящим нищим. Стою на ступеньках в аптеке, прошу милостыню, и у меня кличка “писатель”...”

Далее Олеша говорил, что эту повесть он так и не написал, что он увидел молодость страны, новых людей, — и это избавило его от печальных мыслей, ибо свершилось “возвращение молодости”... Трудно сказать, знал ли он строчки Клюева: “Я был когда-то поэтом. Подайте на хлеб, Христа ради”. Но о Клюеве, просившем милостыню на паперти, знали многие делегаты съезда — молва распространялась быстро. И трудно отделаться от мысли, что предполагавшаяся “повесть о нищем” была навеяна именно этой картиной.

Имя Клюева на съезде поначалу не упоминалось вообще. Даже в докладе Бухарина, говорившем и о Блоке, и о Есенине, и о Гумилёве, и о Брюсове, не было сказано о сосланном поэте, который был ещё совсем недавно одной из ключевых фигур в русской современной поэзии, ни единого слова. Не вспомнил о нём и Николай Тихонов в своём содокладе. Но, видимо, когда до делегатов дошло письмо Петра Клюева, уже нельзя было сделать вид, что не существовало в отечественном поэтическом мире его знаменитого брата. И первым нарушил “заговор молчания” Александр Безыменский, который поистине “в поединке не ослаб с косматым зубром листодёром” — как написал Клюев в “Кремле”.

“Я думаю, что надо говорить не только о советских поэтах (в прямом и точном смысле этого слова), но и о тех поэтах, которые являются рупором классового врага, а также о чуждых влияниях в творчестве поэтов, близких нам...” С “рупора классового врага” он и начал, упомянув “империалистическую романтику Гумилёва и кулацко-богемную часть стихов Есенина” и процитировав стихи украинского имажиниста Леонида Чернова (Малюшиченко):

*Любимая  
И трижды проклятая столица моя!  
Здесь на площади гудят толпы, реют плакаты,  
А на полях воет ветер,  
Воют собаки бездомные,  
Страшно ночью осенней  
Думать о чёрных степях.*

Сразу после этой цитаты боевой бородатый комсомолец перешёл к самим “классовым врагам”:

“В стихах типа Клюева и Клычкова, имеющих некоторых последователей, мы видим сплошное противопоставление “единой” деревни городу, воспевание косности и рутины, при охаивании всего городского — большевистского, словом, апологию “идиотизма деревенской жизни”.

После этого Клюев был снова забыт всеми выступающими вплоть до заключительной речи Максима Горького.

Руководитель нового единого Союза писателей вплёл имя Клюева в контекст своей полемики с Бухариным по поводу Маяковского, которому, по мнению Горького, был свойствен “вредный гиперболизм” — и этот гиперболизм оказал вредное влияние, в частности, на Александра Прокофьева. Но не только маяковское влияние отметил Горький. Процитировав несколько, действительно, пародийных прокофьевских строк, он вспомнил о своём давнем оппоненте.

“Вот к чему приводит гиперболизм Маяковского! У Прокофьева его осложняет, кажется, ещё и гиперболизм Клюева, певца мистической сущности крестьянства и ещё более мистической “власти земли”...”

Всё! На этом разговор о Клюеве был на съезде закончен. Писатели — и молчавшие, и говорившие — ясно дали понять, что вспоминать о нём более не желают. А если он и вспоминается, то как “апологет “идиотизма деревенской жизни” и “певец мистической “власти земли”. У собравшихся “гуманистов” — ни особого интереса, ни сочувствия вызвать он не может. Дескать, туда ему и дорога!

Николай эти замечательные речи, во всяком случае, выборочно, читал. Пресса до него доходила, да и писавшие ему делились своими впечатлениями от услышанного, мешая факты с недостоверными слухами.

Слухи находили своё отражение и в официальных документах. 26 августа 1934 года был составлен запрос в Нарымский окротдел НКВД с. Колпашево и в Томский оперсектор НКВД совершенно поразительного содержания:

“По имеющимся сведениям на территории Нарымского края отбывает ссылку а/сс (административно-ссылный) Ключев Николай Алексеевич и Клычков, имя и отчество для нас неизвестно, прошедшие через Томский распределительный пункт.

Просьба сообщить действительное нахождение на территории Вашего края указанных а/сс, и если таковые являются особоучётниками, вышлите нам учётный материал, если же относятся к группе массовой ссылки, вышлите карточки ф. № 1 с полными установочными данными.

НАЧ. УСО СИВЯКОВ”.

Принято считать, что в учётных отделах НКВД царил порядок. Как видно – бардака и там хватало. Сергей Клычков, находящийся на свободе (он будет арестован только 31 июля 1937 года), уже числится в сознании “Нач. УСО” административно-ссылным вместе с Ключевым – причём в одном и том же месте. Где же ещё может находиться “кулацкий писатель”, имя которого рядом с именем Ключева склоняется во всех газетах, журналах, критических “исследованиях”!

Ответ в Новосибирск был отправлен ровно через неделю:

“УПРАВЛЕНИЕ НКВД по ЗСК (УСО)

г. Новосибирск, на № 015/А

При этом препровождается учётный материал на адм/сс Ключева Николая Алексеевича. Клычков (так! – **С. К.**) на учёте у нас не значится.

вр. и. д. НАЧ. ОКРОТДЕЛА НКВД ЖУК

ОПЕР. УПОЛНОМ. УСО ЦЫПЛЯТНИКОВ”.

... Из письма Н. Ф. Христофоровой-Садомовой от 5 октября 1934 года:

“Квартира запечатана, и трудно чего-либо добиться положительного о моём жалком имуществе, правда, есть из Москвы письмо с описанием впечатлений от съезда писателей. Оказывается, на съезде писателей упорно ходили слухи, что моё положение должно измениться к лучшему, и что будто бы Горький стоит за это. Но слухи остаются в воздухе, а я неизбежно и точно, как часы на морозе, замираю кровью, сердцем, дыханием. Увы! Для писательской публики, занятой лишь саморекламой и самолюбованием, я неощутим как страдающее живое существо, в лучшем случае, я для неё лишь повод для ядовитых разговоров и недовольства – никому и в голову не придёт подать мне кусок хлеба. Такова моя судьба <и> как русского художника, <и как> живого человека. И вновь, снова я умоляю о помощи, о милостыне... Я писал Николаю Семён(овичу). Ответа нет. Да и вообще мне в силу условий ссылки – почти невозможно списаться с кем-либо из больших и известных людей. К этому есть препятствия. Вот почему я прошу поговорить с ними лично. В первую очередь, о куске насущном, а потом о дальнейшем спасении... Как отнесётся Антонина Васил(ьевна) Нежданова? Она может посоветоваться со Станиславским, а он, в свою очередь, с Горьким. Нужно известить Веру Фигнер – её выслушает Крупская, и, конечно, посоветует самое дельное. Очень бы не мешало поставить в известность профес(сора) Павлова в Ленинграде, он меня весьма ценит. Конечно, всё это не по телефону, а только лично или особым письмом...”

Ключев ещё не знал, что за день до этого письма в Управление НКВД по Северо-Западному краю поступила шифровка из Учётно-специального отдела УГБ НКВД СССР, в которой содержалось распоряжение об отправлении “поэта Ключева” для отбытия оставшегося срока ссылки в Томск “не этапом, а спецконвоем”. Аналогичное по содержанию распоряжение из Новосибирска пришло в Нарымский окружной отдел НКВД в Колпашево.

Это сказались хлопоты Екатерины Павловны Пешковой.

8 октября Ключев покинул Колпашево и отправился под конвоем в Томск, куда прибыл через 3 дня.

Это был последний круг его хождения по мукам.

## Роза, смятая в Нарыме

В Томске Клюев снял угол в избе, значившейся как дом № 12 по переулку Красного Пожарника.

Из письма Н. Ф. Христофоровой-Садовой от 24 октября 1934 года:

“На самый праздник Покрова меня перевели из Колпашева в город Томск, это на тысячу вёрст ближе к Москве. Такой перевод нужно принять за милость и снисхождение, но, выйдя с парохода в ненастное и студёное утро, я очутился второй раз в ссылке без угла и без куска хлеба. Уныло со своим узлом я побрёл по неизмеримо грязным улицам Томска. Кой-где присаживался, то на случайную скамейку у ворот, то на какой-либо приступок. Промокший до костей, голодный и холодный, уже в потёмки я постучался в первую дверь кособокого старинного дома на глухой окраине города в надежде выпросить ночлег Христа ради. К моему удивлению, меня встретил средних лет бледный, с кудрявыми волосами и такой же бородкой человек – приветствием: “Провидение послало нам гостя! Проходите, раздевайтесь, вероятно, устали”. При этих словах человек с улыбкой стал раздевать меня, придвинул стул, стал на колени, стащил с моих ног густо облепленные грязью сапоги. Потом принёс валенки, постель с подушкой, быстро наладил мне в углу комнаты ночлег. Я благодарил, еле сдерживая рыдание, разделся и улёгся, – так как хозяин, ни о чём не расспрашивая, попросил меня об одном: успокоиться, лечь и уснуть. Когда я открыл глаза, было уже утро, на столе кипел самоварчик, на деревянном блюде – чёрный хлеб...”

Первый раз за всё время ссылки он встретил такое отношение к себе. Впору было залиться благодарными слезами. Хозяин же всё и объяснил:

“Пришла, – говорит, – ко мне красивая, статная женщина в старообрядческом наряде, в белом плате по брови: “Прими к себе моего страдальца – обратилась она ко мне с просьбой, – я за него тебе заплачу” – и подаёт золотой”. Дорогая моя Надежда Фёдоровна. Вы поймёте мои слёзы и то состояние человека, когда всякая кровинка рыдает в нём. Моя родительница упреждает пути мои. Мало этого – случилось и следующее. Я полез в свой мешок за съестным, думая закусить с кипятком, но, сколько я ни ломал ногтей, не мог развязать пестрядиной кромки, которую завязал мне конвойный солдат мешок. Хозяин подал мне ножик, я стал пилить по узлу и вдоль рубца. Отлетела уцелевшая пуговка, а за ней из-под толстой домотканой заплатки вылез жёлтый кружочек пятирублёвой золотой монеты! Вы мне писали, чтобы я пересмотрел свою жизнь. Я знаю, что за грехи и за личины житейские я страдаю, но вот Вам доказательство того, что не меркнет простой и солнечный свет...”

Этот свет освещал ему последние годы его томского жития – словно последними дарами одаривал Спаситель – по молитвам за него давно ушедших.

Он по-прежнему угнетён бытовой нуждой, просит в письмах о помощи съестным и денежным переводом, умоляет Варвару Горбачёву продать складень Неопалимой Купины, принадлежавший Андрею Денисову: “Писан же он тонким письмом в память Палеостровского самосожжения иже на озере Онего при царе Алексии. Сплошной красный цвет выражает стихию огня. Этому складню всего бы больше приличествовало быть у меня – связу(я) меня, сгоревшего на своей “Погорельщине”, с далёкими и близкими отцами и дядичами, но что же делать? Они простят меня, слабого и уже одной ногой стоящего во гробе...”

Он знал, что его конец близок. А насколько он был близок – тому подтверждение было в том же документе о переводе поэта в Томск. На казённой бумаге появилось примечание, сделанное синим карандашом: “В дело массов.”. Юрий Хардинов, первым исследовавший “Дело ссыльного Н. А. Клюева”, дал существенное разъяснение по этому поводу:

“По утверждению помощника прокурора г. Москвы советника юстиции В. Рябова, синий карандаш на делах тридцатых годов означал предрешённость судьбы – неминуемую гибель жертвы НКВД. Эта надпись на деле Клюева выполнила своё роковое предназначение”.

Как и в Колпашеве, поэт вынужден был просить милостыню... Об этом вспоминала студентка медицинского института Нина Геблер в 1989 году:

“... Меня остановил очень пожилой, как мне показалось, мужчина, высокого роста, склонный к полноте, бледный с несколько одутловатым лицом, с полуседыми волосами, подстриженными по-крестьянски под “кружок”. Одет был очень плохо: запомнилась синяя в белую полоску рубашка-косоворотка, по окружности опоясанная шнурком. Но, несмотря на плохую и даже грязную одежду и рваные брезентовые туфли, он имел вид благородного, интеллигентного человека. Он подошёл ко мне, протянул руку и попросил милостыню на кусок хлеба опальному поэту Ключеву. Я смутилась, денег как будто со мною не было, и я предложила ему зайти к нам...”

А просящий милостыню Ключев и здесь *подобился* своему “прадеду Аввакуму”, вещавшему: “Сказать ли, кому я подобен? Подобен я нищему человеку, ходящу по улицам града и по окошкам милостыню просящу...”

В гостях у семьи Геблер он вспоминал и о Есенине, и о Горьком, и о Леонове, и о Пришвине... На вопрос, не сослан ли Ключев за антисоветскую работу против коллективизации среди крестьян, отвечал, что никакой такой работой не занимался и ни в каких организациях не состоял.

По Томску быстро разнеслась весть о том, что в городе отбывает ссылку известнейший поэт, учитель Есенина, при том, что есенинские стихи ходили по рукам в огромном количестве списков. Студенты Томского университета, преодолевая вполне естественную тревогу (За одно чтение Есенина и обсуждение его стихов можно было вылететь из вуза с волчьим билетом, не говоря уже об исключении из комсомола или из партии!), решили прийти в поэту в гости.

Их было четверо – Виктор Козуров, Николай Копыльцов, Кузьма Пасекунов, Ян Глазычев.

“Человек, вышедший из дома, очень похож на Льва Толстого, – вспоминал Козуров. – Обращало внимание чисто внешнее сходство: тот же примерно рост и комплекция, овал лица, жилистые крестьянские руки и та же лопатобразная борода, только тёмная и заметно короче. Но главное, что бросалось в глаза, – это одежда: простые шаровары из какой-то грубоватой, чуть ли не домотканой материи, под цвет им – просторная рубаха-косоворотка, подпоясанная узким неброским ремешком, на ногах – домашние туфли, надетые на босу ногу.

Невольно подумалось, что все эти атрибуты не случайны. Вероятно, человек сознательно и обдуманно доводил их до полной похожести. Об этом свидетельствовала и поза, которую он принял, появившись на крыльце: ладонь, заложенная за пояс, и внимательный, изучающий взгляд чуточку прищуренных глаз, устремлённый в нашу сторону, и лёгкая полуулыбка на лице, и продолжительная пауза, которую он выдержал, прежде чем заговорить с нами...”

Это было написано уже в 1981 году, и на всём этом уже лежит отчётливый отпечаток ключевской “репутации”, устоявшейся за минувшие годы. Козуров не мог не отдавать себе отчёта в том, что видел перед собой нищего и загнанного человека, носившего то, что у него есть. Но уж больно велик оказался соблазн представить Ключева талантливым актёром, “обдумавшим” своё появление перед студентами... Сам же Ключев давно уже отринул все “личины житейские” и покаялся в них, о чём мемуарист, естественно, не имел никакого понятия.

Студенты начали расспрашивать его о Есенине, и Ключев, задумчиво поглаживая бороду, говорил:

Да, Серёжу-то я знал хорошо. Хорошо знал Серёженьку... Жаль мальчика. Рано ушёл. Совсем рано. Лучше бы он меня вспоминал. Так было бы справедливее. Ну, а что я вам о нём скажу? Что нужно, об этом в своё время сказано и написано. А чего не нужно, лучше и не вспоминать. Так-то оно правильнее будет. Одно скажу: большого человека потеряли, очень большого. Вряд ли ещё когда такой народится...

На просьбу прочесть любимые им стихи Есенина Ключев ответил, что любит все его стихи, как свои. Может, его-то стихи больше любит, чем собственные.

И начал читать “без перерыва и без видимой связи между собой”, — как вспоминал Козуров: “Песнь о собаке”, “Персидские мотивы”, “Сорокоуст”, “Письмо к матери”... “С особым волнением и дрожью в голосе и, кажется, с искренними слезами на глазах прочёл он, по нашей просьбе, “Клён ты мой опавший...” И долго потом не мог успокоиться, вздыхая и проводя ладонями по глазным впадинам. Но “Русь уходящую” читать отказался, никак не мотивируя своего нежелания”.

Он словно заново вернулся памятью к последней встрече с Есениным в “Англетере”, к той невольной обиде, которую нанёс своему собрату, слушая его последние стихи. И читая, каялся перед ним. И за те свои слова, и за несправедливые строчки “Кремля”, которыми отбрасывал Есенина в прошлое... Он уже знал всё, что вещали делегаты писательского съезда о его любимом друге: Бухарина, услышавшего в есенинском поэтическом голосе “культ ограниченности и кнутобойства”, у которого Есенин предстал как “идеолог кулачества”; Тихонова, усмотревшего “однообразные и скучные банальные строки последнего его (Есенина. — С. К.) периода”, что якобы “написаны на костях его биографии”; Александровича, у которого Есенин “кулацкими элементами фольклора питал своё творчество”... Нет, не желал он петь с ними в унисон, не для них были его песни — ещё и потому просил позже Яра выслать ему “Кремль” для переделки.

И потом, разговаривая с пришедшим к нему рабфаковцем Алексеем Шеметовым, спросил:

— Кто же из поэтов нашего века вам ближе? Тот, кого ныне славят? Маяковский?

— Нет. Есенин. И вы.

— Вот как! Значит, молодёжь нас знает? Не думал. Выходит, мы не совсем забыты. Отрадно. Есенин — глубинно русский песнопевец. Придёт время, Россия будет отмываться его чистоструйной поэзией от пожаричной копоти...

Как сказал тогда в “Англетере” — будут нежные юноши и девушки книжечки составлять из его стихов.

И сейчас — как в воду глядел.

\* \* \*

Из письма Надежде Христофоровой-Садовой от 1 января 1935 года:

“Поздравляю Вас со Святками, со звёздной ёлкой счастья и благословения (с этого года вновь было разрешено праздновать Новый год с рождественскими ёлками. — С. К.). Я получил Ваше письмо, наполненное грустью о моих грехах. Я поплакал над ним тихими очистительными слезами. Оно — живое доказательство, что я один из тех тёмных грешников, ради которых и пришёл во плоти Свет на земле, ибо Он пришёл не к праведникам, а к ужасному сборщику римских податей Закхею, к финикиянке-блуднице, львице восточных бань и публичных сатурналий, к бесноватому, живущему во гробах, к гнойным прокажённым. О, какое счастье встать в ряды тех, про которых сказано в Евангелии от Луки в главе VI-ой, стих 22-й: “Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше как бесчестное”. И ещё стих 26-ой того же евангелиста: “Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо”.

Дорогое чадо Божие — тёплая и родная Надежда Федор(овна). Да не смущается сердце Ваше и да не уstrasается! Не принимайте мои спокойные встречи с искушениями за самый грех (вот о чём надо бы помнить всем, пишущим и говорящим о Клюеве! — С. К.). Будьте в покое, и раскалённые стрелы сатаны возвратятся туда, откуда они прилетели! Ибо ведь “Христос есть мир (в английском переводе — покой) наш (Ефес. 11, 14). Никогда не выходите из этого покоя, если Вы хотите возрасть в очищении. Тогда исчезнет и смущение Ваше. “Что скажет Он, то и сделайте” (Иоанн. 11, 5). Ожидайте всякий день избавления от греха: “Сие пишу вам, чтобы вы не согрешили” (Иоанн. 11, 1). Я же скажу вместе с Апостолом Павлом: “Хотя я ничего и не знаю за собою, но тем не оправдываюсь: судия же мне Господь”. Возьмите чело века, который по причине многогранности своей души не может жить среди официальных праведников, выкиньте его из общественных предприятий,

изгоните из общества, — и Христос скажет: “Вот человек, которого Я ищу! Я пришёл взыскать и спасти погибшее!” Ещё раз прошу Вас пребывать в покое, дабы не затемнить уверенности, что “Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, расцветёт, как кипарис” (Ис. XLII, 1)”.

Нежные и сердечные послания с описаниями терний жизненных и с просьбой о поддержке и помощи получали от него и Варвара Горбачёва, и Лидия Кравченко, и Анатолий... Но писем, подобных Надежде Христофоровой, он не писал больше никому.

“Когда деревья стоят в густом зелёном уборе, то нелегко находить на них плоды, — и многие из них остаются незамеченными. Когда же наступает осень и оголяет деревья, то плоды все обнаруживаются. В сутолоке жизни человек едва узнаваем. Его сокровенная жизнь сокрыта в этой чаще. Когда же вторгаются страдания, мы узнаём избранных и святых по их терпению, которым они возвышаются над скорбями. Одр болезни, горящий дом, неудача — всё это должно содействовать тому, чтобы вынести наружу тайное. У некоторых души уподобляются духовному инструменту, слышимому лишь тогда, когда в него трубит беда и ангел испытания. Не из таких ли и моя душа?” (из письма от 22 февраля 1935 года).

“Я уже не считаю дней и месяцев. Жизнь проходит, уплывают, как волны, душа и тело. Только ты одна живёшь вечно, бессмертная музыка! Ты — внутреннее море. Ты — глубокая душа. Угрюмое лицо жизни не отражается в твоих ясных зрачках. Далеко от тебя бегут вереницей дни знойные и ледяные, как стадо облаков по небу, быстро сменяя друг друга. Только ты одна живёшь вечно. Ты — вне мира. Ты сама — целый мир! У тебя своё солнце, свои законы, свои приливы и отливы! Музыка — девственная мать, несущая в бессмертном лоне своём все страсти человеческие, скрывающая добро и зло в лоне своих очей цвета тростника и бледно-зелёной воды тающих горных ледников. Тот, кого ты приютила, живёт вне веков; цепь его дней будет только одним днём, и смерть пожирает всех и всё, ломает себе зубы!”

Всё, кажется, позади у старого поэта. И в эти последние два года жизни поражает взлёт его духа, высота его мысли, душевная сосредоточенность и очищение сердца. Именно так он назвал своё философское стихотворение в прозе, которое начал писать в Томске в конце 1934-го и, закончив, отослал Христофоровой-Садомовой 30 апреля 1935 года.

С многочисленными ссылками на книги Ветхого и Нового завета Ключев, отвечая на письмо Надежды, излагает самые сокровенные мысли, пишет, по существу, о своём духовном перерождении, совершающемся в состоянии спокойной и углублённой радости от предвкушения грядущего очищения и сороднения с Господом Нашим.

Он пишет о людях с природным сердцем, которые “совершают свой грех добровольно... страшатся суда и смерти, но не боятся греха”... Об обновлённом сердце человека обращённого, который находится в состоянии борьбы, старается не грешить, но ему это не удаётся... Это стадии возрастания духа, которые проходил он сам. И, наконец, об очищенном сердце. То, о чём он пишет, как нельзя более кстати для восприятия многих и многих наших современников либо не пытающихся ещё найти свой путь к Богу, либо ищущих его и спотыкающихся на каждом шагу.

“Вот тогда-то я уже не уклоняюсь от прямого пути, жизнь моя течёт, как река. Новые песни вложены в уста мои...”

Многие поверяют Писание своим опытом, вместо того, чтобы проверить свой опыт Писанием. Многие объясняют Слово Божие согласно с своими мыслями, чтобы успокоить совесть. Не верьте ни своему, ни чужому опыту: верьте тому, что говорит Бог о благословении, Им даруемом... В своём последнем письме ко мне Вы несколько раз советуете мне обратиться и очиститься. Но при обращении душа не получает очищения — она только с момента обращения становится собственностью Христовой, но ещё не получает очищения, о котором говорит Иоанн, XV, 2: “Всякую ветвь, приносящую плод, Он очищает”. Итак — очищению подвергается ветвь, уже находящаяся на лозе... Очищение необходимо для того, чтобы можно было духовно возрасти и приносить больше плода... Я нуждаюсь в очищении, потому что иначе люди увидят несоответствие между моею жизнью и моими верованиями — и соблазняются этим... Пока сердце Ваше не очищено, Вы не можете ощущать присутствие Бога в душе своей, хотя бы и веровали в Него. Потому что храм должен быть

очищен прежде, нежели он наполнится славой Бога – Самим Господом Иисусом Христом и силою Духа Святого)... Слово Божие обещает нам полное освобождение от греха. Вы, быть может, спросите: “Что же станется с плотью? Могут ли плотские страсти наши (быть) вырваны из сердца?” Да, могут. Потому что Сам Бог берётся их оттуда изъять. Плоть наша пригвождена была к кресту вместе с Христом...

Многие обладают известным запасом знания. Они с презрением относятся к слишком простому учению и считают очищение от всякого греха нелепостью. Многие не очищаются от своих грехов потому, что слушают людей, которые сами не получили очищения...

Как совершает Бог очищение? Духом Своим, словом Своим, кровью Своею. Отдайте себя в распоряжение Духа Святого: Он поставил Вас перед зеркалом Слова Божия и даст Вам увидеть и осознать свои грехи. Тогда кровь Христа очистит Вашу душу, и Вам станет ясно, что пишет Вам не “страшный человек”, а брат по упованию, вместивший в себя многое, что утаено от многих ревнителей закона, избивающих Стефанов камнями!..

До тех пор, пока сердце моё не было очищено, Христос был только Пророком и Первосвященником для меня: Царём своим я его ещё не признал. Он ещё не воцарялся в сердце, хотя мне и казалось, что Он обитает в нём. Многие христиане невольно впадают в это заблуждение. И они живут целые годы в полной уверенности, что Христос в них, тогда как на деле Он не воцарялся в сердце их. Поэтому, если мы только думаем, что Христос в сердце нашем, это не заставит Его действительно войти в него, пока мы не поверим так, как Он этого желает. Теперь Вы, быть может, уразумеваете, совершил ли я – осуществил ли – очищение всякой скверны плоти и духа?..

Кровь Иисуса Христа помимо меня самого очищает меня. Моё дело только идти вперёд по пути Света, чтобы Слово Божие не стало для меня мёртвой формулой. Постоянное движение вперёд обуславливает постоянное очищение...

подавляющее большинство совершенно не испытывали близости Христа и сердечного очищения и не могут судить об этом. Другие же люди, получив первоначальное дуновение очищения, слишком занимаются после этого собою, слишком смотрят на ощущения, их окружающие... Защищая и охраняя свои чувства, такие люди лишь настроение считают христианством. Христианство для них лишь затычка в душевные пробоины. Они никогда не узнают в страннике Господа и в юродствующем праведника...

Дорогая Надежда Фёдоровна, драгоценное дитя Божие, Вы, осмысливая меня как личность, – чаще принимаете за меня подлинного лишь моё отражение в искушениях, которыми я, как никто, бываю окружён... Прикосновение к нам раскалённых стрел сатаны не есть ещё бездна и грех (Еф. VI, 16). Хотя они будут обжигать нашу душу и лишать нас покоя, вызывая те или (иные) мысли и сомнения, но если мы будем только спокойно наблюдать это, стрелы улетят обратно так же скоро, как прилетели. Наоборот, если мы углубимся в эти мысли, будем стараться понять, откуда они явились, – тогда горе нам... Вспомните моё спокойствие в молитве и при встрече с искушениями. Только слепой сердцем может моё спокойствие при встрече с грехом объяснить моим участием во грехе (подчёркнуто мной. И это нужно помнить при любом разговоре о Ключеве! – С. К.)... Не смотрите на свою или чужую немощь, но взирайте на могущество Божие. Не смотрите на свою наклонность ко греху, это дрожжи Адамовы, но всегда помните силу Христа, тогда Он и сохранит Вас. Так поступаю я – один из грешников, ради которых и пришёл Свет в мир”.

Ключев беседует с Христофоровой-Садовой как с равной себе собеседницей, отвечая на её, судя по ключевским письмам, довольно жёсткие послания, которые, к сожалению, не сохранились. В “Очищении сердца” он продолжает и развивает мысли о. Павла Флоренского из книги “Столп и утверждение истины” (“потрясающей книги”, по его же словам), в частности, из письма девятого “Тварь”, где Флоренский рассуждает о тварной природе человека: “Очищение сердца даёт общение с Богом, а общение с Богом выпрямляет и устрояет всю личность подвижника. Как бы растекаясь по всей личности и проникая её, свет Божественной любви освящает и границу личности, тело, и отсюда излучается во внешнюю для личности природу. Через корень, которым духовная личность уходит в небеса, благодать освящает и всё окружающее подвижника и вливается в недра всей твари”. Ключев, про-

слеживая свою собственную духовную эволюцию, отодвигает *тварную* тему в сторону и сосредотачивается именно на “общении с Богом”, путь к которому именно в “очищении сердца”. Именно оно преобразует душу и сообщает то духовное равновесие, которое необходимо в той жизни, где нищета, грубость, голод и предчувствие близкого конца.

\* \* \*

А что же Анатолий?

С переездом в Томск Николай перестал получать его письма. Сам же Яр в письмах к родным с увлечением расписывал свою бурную искромётную жизнь.

“Я не успеваю считать закаты и восходы солнца, утро и вечер так же часты, как телеграфные столбы из окна поезда... Я сейчас весь в учении. С новыми силами налёт, что есть мочи, себя не пожалею, но вещи делаю... Откуда силы и умение взялись... Кроме Академии, я печатаюсь почти каждый день в “Вечерней Красной газете”. Это дало мне большую известность по Ленинграду. Рисунки черноморские печатаю в “Вечёрке” и “Резце” № 18. Кроме этого в “Резце” в 20-21 номерах будет помещена статья обо мне, вернее, о моём пребывании на Чёрном море... В Ленинграде вышла книга Люфанова “Исламов” с моими рисунками, вышла книга о (Борисе) Лавренёве с моим портретом наподобие Федина. Выходил Чапыгин с его монографией. Заканчиваю иллюстрации к Пушкину, к “Пиковой даме”. Мыслями и сердцем брожу возле моей затеи с картиной “Писатели”. Вероятно, скоро приступлю к выполнению. Вообще после 5 часов вечера я еду в театр или ещё куда-либо рисовать для газеты...”

Замысел картины “Писатели” зрел давно. Поначалу Яр хотел написать групповой портрет Николая Клюева, Сергея Клычкова и Петра Орешина. Эта картина так и не была написана, зато сотворилась другая: “Сталин, Молотов и Ворошилов слушают сказку Максима Горького “Девушка и смерть”.

Тоже, видно, сюжет из писательской жизни...

“Я сейчас заканчиваю портреты Куйбышева, Кирова и этим заключается книга челюскинцев. Выйдет она 13 апреля. А первая книга — Вам. В ней 26 моих портретов. На эти деньги я шью шубу из лучшего драпа с настоящим котиковым воротником. На это придётся добавить денег. У меня есть надежда на деньги...”

Успех, материальное благополучие, вход в официальный живописный синклит... Всё это не могло не сказаться на его отношении к жизни. Не тот уже мальчик был Анатолий, который наслаждался каждой минутой общения с дедушкой.

Из письма Клюева Лидии Кравченко, матери Анатолия:

“От Толи четвёртый месяц не получаю никакой весточки. Его любовница слишком опытна, чтобы выпустить добычу из своих когтей. Но я надеюсь на природный ум нашего горячего художника. В его годы человек меняет не только кожу, но и душу...”

Впрочем, Клюев не мог не понимать, что дело здесь не только и не столько в “любовнице”.

Из писем Анатолия родителям:

“Н(иколаю) А(лексеевичу) не пишу по некоторым соображениям, очень занят. Напишите ему самые дорогие и лучшие слова. Он благословил мой жизненный путь великим светом красоты и прекрасного. Имя его самое высокое для меня...”

“Я среди этих каменных гор и этого гордого молчания природы много думаю о Дедушке, который прошёл через мою жизнь, показал мне диковинную птицу и ушёл. А я стою зачарованный, стою, боюсь дышать, чтоб не отпугнуть паву. Но она неударжима, обнимает протянутые к ней руки и расправляет крылья, чтоб улететь. Я плачу”.

Анатолий сохранит все письма Клюева и все подаренные и присланные ему стихи. Он сохранит и светлую память о нём до самого конца своей жизни. Но пава улетела уже тогда, когда вкусил молодой живописец плодов официального признания. И не желал ничем омрачать свою новую жизнь. Перепиской со ссыльным поэтом — тем более.

Из письма Клюева Лидии Кравченко:

“Вы пишете, что Толя заботится обо мне. Я недоумеваю, в чём выражается его забота! Я ничего от него не прошу, кроме доброго слова. Скучаю по его искусству и желал бы послужить сам ему. Больше мне ничего не было нужно от Толечки — ни в прошлом, ни в настоящем...”

Из письма Клюева Варваре Горбачёвой от 23 февраля 1936 года:

“Зловеще, но для меня не неожиданно — рассказали вы об Анатолии, он пьян призрачным успехом, до первого пинка, до первого испытания, котор(ое) для него может оказаться громовым ударом и поразить насмерть. Ещё немного, и его путь упрётся в пулю или в цианистый калий. Не первого такого я встречаю на своём веку. Ужасаюсь и содрогаюсь и за это обольщённое дитя! Ничего я от него не прошу...”

Прошу Вас при встрече с Толей и виду не показывать, что Вы знаете моё душевное землетрясение и что его модная фигура пока мне в одиночку в подлинности понятна!..”

Зловещее пророчество, к счастью, не сбылось. Анатолий прошёл невредимым через все испытания, окончил свои дни в почёте и холе. О Клюеве вспоминал радостно и благодарно, но скуп.

И всё же Николай продолжал писать Анатолию. И в одном из писем, уже незадолго до конца, выслал своё последнее из известных нам стихотворений.

\* \* \*

“В чаше страдания не может быть ни одной лишней или бесполезной капли”.

Эти слова Александра Блока из письма Клюеву, запомненные и пронесённые через годы, Николай поставил в качестве эпиграфа вместе с цитатами из “Послания к Евреям”, “Книги пророка Исаяи” и “Экклезиаста” в письме к Лидии Кравченко.

... Давно это было. Письма Блока изъяты ещё при аресте 1923 года в Вытегре и пропали без следа... А осталось в памяти то, что и сейчас помогает жить и духа не угашать, вопреки всему.

Николай регулярно посещал Троицкую единоверческую церковь, где настоятелем был бывший князь Ширинский-Шихматов, с которым у поэта сложились близкие и доверительные отношения. Службы в ней совершались до 1939 года, когда она была закрыта, а открылась вновь только в 1944 году.

В иконостасе и сейчас можно увидеть домовые иконы XVIII века: Обрадованное Небо, Трерядницу, Николая Чудотворца, Архангела Михаила... В церкви было три придела — для староверов, единоверцев и католиков (которые негде было больше совершать свои службы)... Приковывает внимание старая фреска — Страшный Суд. Грешники, объятые пламенем, идут в муку вечную, праведники — в жизнь вечную.

Мимо застроенного теперь оврага уходил поэт в Михайловскую рощу и дальше — к Белоозеру, вокруг которого ныне разбит парк. Посещал он и старообрядческий храм, что на улице имени Яковлева... Навещал Ширинского-Шихматова у него дома на Войлочной заимке, где в ту пору был совершенно бандитский район.

Из письма Варваре Горбачёвой от 25 октября 1935 года:

“Какое здесь прекрасное кладбище — на высоком берегу реки Томи, берёзовая и пихтовая роща, есть много замечательных могил... Но жаворонков и сельских ласточек по весне здесь не слышно. Ласточки только береговые и множество сизых ястребов. Ещё до Покрова выпал глубокий снег, ветер низкий, всешарящий, ищущий и человечески бездомный. Мой знакомый геолог говорит, что и ветер здесь ссыльный из Памира или из-за Гималаев, но не костромской, в котором сорочий шёпот и овинный дымок. Как Москва? Как писатели и поэты — как они, горемыки миленькие, проживают. Жалко сердечно Павла Васильева, хоть и виноват он передо мною чёрной виной. Переживу зиму — на весну оправлюсь. Теперь же я болен. Лежал три недели в смертном томлении, снах и видениях — под гам, мерзкую ругань днём и смрад и храпы ночью. Изба полна двуногим скотом — всего четырнадцать голов. Не ему мои песни. Лютый скот не бывал в Гостях у Журавлей. Может ли он быть любим? Но блажен тот, кто и скота милует!..”

На территории тогдашнего Томска находилось четыре кладбища – православное, католическое, еврейское и старообрядческое. Скорее всего, Клюев писал о православном кладбище, на территории которого позже были воздвигнуты корпуса завода “Сибкабель”.

“Мой знакомый геолог” – это одно из последних в жизни радостных обретений Клюева. Речь идёт о ссыльном геологе Ростиславе Сергеевиче Ильине, в доме которого Клюев часто бывал. Читал хозяевам отрывки из “Песни о Великой Матери”, стихи из цикла “Разруха”, рассказывал сочинённую им сказку о коте Евстафии и другие сказки... Вера Ильина, жена Ростислава, вспоминала через много лет:

“...Его манера сказителя Севера, мимика, удивительное звукоподражание создавали впечатление такого художественного целого, что забывалось всё окружающее... Он изображал жужжание мухи под пальцами ребёнка, разных животных, мог говорить разными голосами, так что трудно было себе представить, что говорит один человек... Прекрасны были его отрывки из неоконченной поэмы о матери, особенно в его передаче. Многие он забыл и дополнял просто рассказом. Мы очень просили его записать то, что он помнит, но он этого не сделал и продолжить уже не мог...”

Помню, как-то нам было с ним по пути. Он часто останавливался, то перед какой-нибудь ёлочкой, то перед берёзкой, и говорил о том, как у них расположены ветки, на что они похожи: получалась чуть ли не поэма. Остановился перед домиком, мимо которого я проходила, не замечая его, а тут я сама начинала видеть, что “время разукрасило стены, как не мог бы сделать ни один художник, – и нарочно так не придумаешь”, как гармонирует изба налличником с целым этого столетничка; а что этому крепкому домику не меньше 100 лет, видно из того, как срублены лапы. Как-то он сказал, глядя на валенки Ростислава Сергеевича с розовыми разводами, стоявшие на печке: “Для Вас это валенки сушатся на печке, а для меня – целая поэма”...”

Из письма Надежде Христофоровой-Садомовой с очередной просьбой хлопотать перед Калининским с помощью Надежды Обуховой, Петра Кончаловского и Викентия Вересаева:

“Положение моё очень серьёзно и равносильно отсечению головы, ибо я, к сожалению, не маклер, а поэт. А залить расплавленным оловом горло поэту тоже не шутка – это похуже судьбы Шевченка или Полежаева, не говоря уже о Пушкине, которого Николай 1-й сослал... и куда же? – в родное Михайловское, под сень тригорских холм(ов). Я бы с радостью туда поехал. Поплакал бы, пожаловался бы кое на что на могилке Александра Сергеевича! Не жалко мне себя как общественной фигуры, но жаль своих песен – пчёл сладких, солнечных и золотых. Шибко жалят они моё сердце. Верю, что когда-нибудь уразумеется, что без русской песенной соли пресна поэзия под нашим вьюжным небом, под шум плакучих новгородских берёз. С болью сердца иногда читаю стихи знаменитостей в газетах. Какая серость! Какая неточность! Ни слова, ни образа. Всё с чужих вкусов. Краски? Гольи анилины, белила да сажа, бедный Врубель, бедный Пикассо, Матисс, Серов, Гоген, Верлен, Ахматова, Верхарн. Ваши зори, молнии и перлы нам не впрок. В избе есть у меня и друг – жёлтый кот – спит со мной, жалеет меня, кормлю его жамкой. Здоровье моё плохое. Простите. Прощайте!”

Вера Ильина вспоминала, что в разговорах о поэзии Клюев утверждал: поэт должен говорить только видимыми образами, и посему отказывался считать поэзией стихи Владимира Соловьёва... Что уж тут говорить о стихах “знаменитостей” 1930-х годов... Сам же он продолжал творить, частично записывая сочинённое на бумаге, а частично оставляя в памяти.

Он общался в это время не только с живыми, но и с давно ушедшими.

Из письма Варваре Горбачёвой от 23 февраля 1936 года, после получения от семьи Клычковых денежного перевода:

“...Купил молока, муки белой, напёк оладий, заварил настоящего трёхрублёвого чая, а когда собрал стол, то и пить не мог, всё бормотал, шептал и звал любимых – со мной чайку испить! И они пришли. Первой явилась маменька – как бы в венчальной фате, и видима почти по колени, потом дядюшка Кондратий в свете самосожженного сруба, Серёженка – сильно неподвижный, но освободившийся, Александр, Николай, Владимир, Ильюша – все отошедшие, но в неистребимой силе живущие, даже до цвета и звука!.. Я часто хожу на край оврага, где кончается Томск, – вливаюсь в заревые про-

духи, и тогда понятней становится моя судьба, судьба русской музыки, а, может быть, и сама Жизнь-матерь. Но Сибирь мною чувствуется, как что-то уже нерусское: тугой, для конских ноздрей воздух, в людской толпе много монгольских ублюдков и полукровок. Пахнущие кизяком пельмени и огромные китайские самовары – без решёток и душника в крышке. По домам почему-то железные жаровни для углей, часто попадаетеся синяя тян-дзинская посуда, а в подмытых половодьями береговых слоях реки Томи то и дело натыкаешься на кусочки и черепки не то Сиамы, не то Индии. Всё это уже не костромским суслон, а каким-то кумысом мутит моё сердце: так и блёкнут и гаснут дни, чую, что считанные, но роковое никакой метлой не отметишь в сторону. . .”

Это письмо было написано перед очередным поворотом в его судьбе. 23 марта Клюев был арестован по обвинению в участии в “церковной контр-революционной группировке” и заключён в местную тюрьму, где его разбил паралич. Отнялись левая рука и нога, закрылся левый глаз, да ещё настиг порок сердца. Лишь чудом каким-то выжил. Изъяты были стихотворения и поэмы, записанные уже в Томске.

В тюремной больнице он, возможно, вспоминал свои старые стихи буйных революционных лет.

*В китовьем жиру увязают и пули,  
Но страшен поэту петли поцелуй,  
Меня расстреляют в зелёном июле  
Под плеск осетровый и жалобы струй...*

*Никто не узнает вождя каравана  
В узорном бурнусе на жгучем коне...  
Не ветлы России, а розы Харрана  
Под смертным самумом вздохнут обо мне!*

Но и в этот раз ему удалось избежать пули. . .

“Дело” № 12264 не сохранилось. Известен лишь документ об освобождении 4 июля “ввиду приостановления следствия. . . ввиду его болезни – паралича левой половины тела и старческого слабоумия”. Слова о “приостановлении следствия” в донесении Управления НКВД по Запсибкраю были зачёркнуты составившим донесение капитаном НКВД Подольским. Явно раскручивалось очередное групповое дело, в этот раз *не докрученное* до конца.

Возможно, сыграло свою роль в освобождении поэта обращение Ростислава Ильина к Екатерине Павловне Пешковой, которая снова помогла опальному поэту. Весной Ильин получил научную командировку в Москву и Ленинград, в Москве был у Надежды Христофоровой-Садомовой, которой рассказал о бедственном положении Николая, и написал письмо в Политический Красный Крест:

“Глубокоуважаемая Екатерина Павловна.

Поэт Николай Алексеевич Клюев в марте арестован в Томске (где он отбывал ссылку), у него был удар, отнята левая сторона, и он сразу был переведен в тюремную больницу. В чём он обвиняется, – неизвестно. Во всяком случае, ему не может быть предъявлено обвинение в порочном поведении. Одновременно с ним арестованы епископ и др(угие) церковники.

Клюеву в его исключительно тяжёлом положении могло бы помочь личное заступничество А. М. Горького. . .”

Трудно сказать – обращалась ли Екатерина Павловна к Горькому, который мог поговорить напрямую с Ягодой, что был завсегдаем в его доме, – или действовала сама. Так или иначе Клюев в июле месяце вернулся под свой негостеприимный кров в совершенно разбитом состоянии.

Из письма Надежде Христофоровой-Садомовой после освобождения:

“... С марта месяца я прикован к постели. Привезли меня обратно к воротам домишка, в котором я жил до сего, только 5 июля. Привезли и вынесли на руках из телеги в мою конуру. Я лежу. . . лежу, мысленно умираю, снова открываю глаза – всегда полные слёз. Из угла смотрит мне в сердце “Страстная” Владычица, Архангел Михаил на пламенном коне низвергает в пучину Вавилоны, Никола Милостивый в белом омофоре с большими чёрными крестами, с необыкновенно яркими глазами, лилово-агатовыми, всегда спасающими. В своём великом несчастье я светел и улыбчив сердцем. . . Теперь я калека.

Ни позы, ни ложных слов нет во мне. Наконец, настало время, когда можно не прибегать к ним перед людьми, и это большое облегчение. За косым окном моей комнатухи — серый сибирский ливень со свистящим ветром. Здесь уже очень холодно, грязь по хомут. За дощатой заборкой режут ребята, рыжая баба клянёт их, от страшной общей лохани над рукомойником несёт тошным смрадом, остро, но вместе нежно хотелось бы увидеть сверкающую чистотой комнату, напоённую музыкой “Китежа”, с “Укрощением бури” на стене, но я знаю, что сейчас на берегу Томи, там, где кончается город, под водами осенних листьев и хвороста найдётся и для меня место...

Из письма Варваре Горбачёвой от 10 августа 1936 года.

“У меня были с трудом приобретённые кой-какие редкие книги и старинные иконы — мимо которых я как художник не могу пройти равнодушно, но и они с злополучного марта месяца в чужих руках. Сибирь объясняет знание древнего искусства вульгарным церковничеством. Иное понимание этих вещей не входит никому в сознание. Вот тебе и университетский город! Мне ставится в вину, конечно, борода и непосещение п(и)вного зала с уединёнными прогулками в сумерки за городом (я живу на окраине). Посещение прекрасной нагорной церкви 18-го века с редкими образами для ссыльного — чудовищное преступление! Не знаю, в теле или без тела, наяву или во сне — на фоне северной резьбы и живописи — несколько раз являлась моя покойная мать, — вся как лебединое пёрышко в синеватых радугах, утешала меня и утирала мои слёзы неизреченно ароматным и нежно-родимым платочком...”

Это было знамение — предупреждение о скорой встрече в мире ином.

Ещё один, последний и редкостный дар, последнее сокровище в жизни было даровано ему на этой земле, удивительная находка, которой он сподобился посреди тяжелейшего быта, в невыносимой атмосфере пьяных скандалов и нескончаемых поправок в своём временном пристанище.

Из письма Надежде Христофоровой-Садовой от начала октября 1936 года:

“Горе мне, волу ненасытному! Всю жизнь я питался отборными травами культуры — философии, поэзии, живописи, музыки... Всю жизнь пил отблеск, исходящий от чела избранных из избранных, и когда мои внутренние сокровища встали передо мной как некая алмазная гора, и тогда-то я не гордился. Но всему своё время, хотя это весьма обидно.

Я сейчас читаю удивительную книгу. Она написана на распаренной берёсте китайскими чернилами. Называется книга “Перстень Иафета”. Это не что другое, как Русь 12 века, до монголов. Великая идея святой Руси — как отображение церкви небесной на земле. Ведь это то самое, что в чистейших своих снах провидел Гоголь, и в особенности он, единственный из мирских людей. Любопытно, что в 12-м веке сорок учили говорить и держали в клетках в теремах, как нынешних попугаев, что теперешние черемисы вывезены из Гипербореев, т. е. Исландии Олафом Норвежским, зятем Владимира Мономаха. Им было жарко в Киевской земле, и они отпущены были в Кольвань — теперешние вятские края, а сначала держались при киевском дворе, как экзотика. И ещё много прекрасного и неожиданного содержится в этом “Перстне”. А сколько таких чудесных свитков погибло по скитам и потайным часовням в безбрежной сибирской тайге?! Пишу Вам в редкие минуты моей крепости телесной...”

Это удивительное сведение привлекло пристальное внимание томского краеведа Николая Новгородова — единственного на сегодняшний день, кто всерьёз заинтересовался “Перстнем Иафета”. В своём документальном сочинении, посвящённом этому произведению, он упомянул о том, что эта третья берестяная книга наших предков, известная в истории. “Первая была найдена в Сибири в 1715 году и использована для записи собранного ясака. Вторую в середине XIX века видел у староверов на Мезени русский этнограф С. В. Максимов”. Исследователь ссылался, приводя эти сведения, на академика Янина, знаменитого исследователя берестяных новгородских грамот. Но коли были грамоты — были и книги. Книги, которые, увы, летели в костры, как “письмена языческие”.

Новгородов предположил (и это предположение небезосновательно), что “берестяную книгу Клюев мог получить только из рук священников и, скорее всего, старообрядческого толка”. А о самом “Перстне Иафета” (точнее, об одном её сюжете в клюевском пересказе) выдвинул, очевидно, верное предположение:

“... Вряд ли в “Перстне Иафета” была прямо поименована Гиперборея. В Русской традиции этот термин не употреблялся. Скорее всего, та земля, откуда были привезены так называемые черемисы, называлась Леденцом, Ледяным или Ледовым островом, почему поэт и решил, что это Исландия и поименовал её Гипербореей. Исландия же не могла фигурировать в этом тексте, потому что ещё в 874 году была заселена норвежцами, в 1262-1264 г<оды> была присоединена к Норвегии и никакие черемисы там не водились. Я полагаю, эта неувязка произошла вследствие чересчур вольного перевода с церковнославянского или иного языка, на котором была написана книга “Перстень Иафета”.

Но Клюев, читая берестяную книгу, видимо, прямо связывал описанные в ней события с исторической Гипербореей, охватывавшей Русский Север, Скандинавию и Исландию, — праматерью мировой культуры. Иафет — имя третьего сына Ноя, разделившего землю после Всемирного потопа со своими братьями Симом и Хамом. А гиперборейцы — его прямые потомки.

Поистине, сколько погибло таких чудесных свитков! Погибла, очевидно, безвозвратно и найденная Клюевым книга, и мы уже не в состоянии подтвердить или опровергнуть свои соображения, касающиеся ныне, увы, лишь пересказа одного сюжета в нескольких строках клюевского письма.

“По улице не хожу, больше лежу”, — пишет он Варваре Горбачёвой. Единственное, что ещё спасает, — книги. Беда, что изъято многое и не возвращено, но и память кое-что сохранила. Он цитирует в своих последних письмах Феогида, Романа Сладкопевца, Метерлинка, Иоанна Кронштадтского... Получает, наконец, письмо от Анатолия, пьяного своими успехами, и пишет пронзительный ответ:

“Ты знаешь мои чувства на все случаи твоих триумфов и утрат, поэтому воздерживаюсь их повторять. Слишком я болен и слаб, чтобы в тысячный раз уверять тебя в моей любви и преданности к тебе. Не требуй у жертвы, когда над ней уже поднят топор, сладких клятв и уверений. Твою укоризну, что я тебя забыл, сердце моё принимает только лишь как кокетство. Это вполне понятно в твои годы и в твоём нынешнем положении... Как я чувствую, что салоны Парижа и Нью-Йорка увидят твои картины! При условии, что на первых порах ты не накопишь около себя толпу врагов и перестанешь разжигать в полулюдях зелёную зависть! Радостной теплотой полнится моё сердце от твоих слов: “Мир и красоту своего жилища я ценю выше всего”. Я позволяю себе вместе с великим Вальтер Скоттом сказать: жилища, в котором живёт и благоухает Книга Книг — Библия! Хотя найдётся много пингвинов, тюкающих, что полёт орла к солнцу есть “упадочничество” и что внешний линолеумный комфорт — есть могучая жизнь, дитя моё незабвенное — поторопись милостыней!..”

И просит он у Яра — акварельных красок и три кисточки: две колонковых и “одну обыкновенную, побольше, — для наведения тонов”... Жаждет он писать не только словом, но и кистью...

В письме Варваре Горбачёвой сообщает, что написал “четыре поэмы”. “Кремль” мы, слава Богу, знаем, от остальных трёх — не осталось и следа... Впрочем, стоп: намёк на след всё же остался. Сергей Васильевич Балакин, сын хозяйки последней клюевской квартиры по адресу: Старо-Ачинская улица, 13, — вспоминал отдельные читанные поэтом строки:

*От Москвы до Аляски — кулацкий обзор.  
Сломанные косточки, крови горсточки...*

Очевидно, это строки из поэмы “Нарым”, начатой ещё в Колпашеве. Но более об этой поэме мы ничего не знаем.

Зато сохранилось посланное в письме к Яру стихотворение, которое принято считать последним:

*Есть две страны: одна — Больница,  
Другая — Кладбище, меж них  
Печальных сосен вереница,  
Угрюмых пихт и верб седых!*

*Блуждая пасмурной опушкой,  
Я обронил свою клюку*

*И заунывною кукушкой  
Стучусь в окно к гробовщику:*

*“Ку-ку! Откройте двери, люди!”  
“Будь проклят полуночный пёс!  
Куда ты в глиняном сосуде  
Несёшь зарю апрельских роз?!”*

*Весна погибла, в космы сосен  
Вплетаёт вьюга седину”...  
Но, слыша скрежет ткацких кросен,  
Тянусь к зловещему окну*

*И вижу: тётушка Могила  
Ткёт жёлтый саван, и челнок,  
Мелькая птицей чернокрылой,  
Рождает ткань, как мерность строк.*

*В вершинах пляска ветродуев,  
Под хрип волчиценой трубы  
Читаю нити: “Н.А.Клюев —  
Певец олонецкой избы!”*

Странник, переходящий грань земного и смертного миров, оставляющий в прежнем — земном — мире “свою клюку” (посох, помогающий в пути), слышит неприветные слова, лишь переступив роковой порог... “Апрельские розы” — не для вестников смерти, “ткацкие кросны”, напоминающие о маминой прялке, оказываются нитями судьбы в руках “тётушки Могилы”, напоминающей древнюю Парку... И нити сплетаются в письма, свидетельствующие о том, кем Клюев останется навечно в земной памяти. “Певцом олонецкой избы” останется он, якобы разлюбивший “избу под елью”.

*Я умер! Господи, ужели?!  
Но где же койка, добрый врач?  
И слышу: “В розовом апреле  
Оборван твой предсмертный плач!”*

*Вот почему в кувшине розы,  
И сам ты — мальчик в синем льне!..  
Скрипят житейские обозы  
В далёкой брэнной стороне.*

*К ним нет возвратного просёлка,  
Там мрак, изгнание, Нарым.  
Не бойся савана и волка —  
За ними с лютней серафим!”*

Этот спасительный ангельский глас, вещающий, что “смерти нет” — предвестие райских куш, в которые измученный земными невзгодами странник войдёт с принесёнными им в глиняном сосуде розами уже в образе “мальчика в синем льне” — безгрешного младенца, омытого живительной влагой предсмертной исповеди и покаяния... Розы в руках поэта, говорящие о “розовом апреле”, который он не думал пережить, напоминают о музыке сфер его любимого Афанасия Фета:

*И неподвижно на огненных розах  
Живой алтарь мирозданья курится.  
В его дыму, как в творческих грёзах,  
Вся сила дрожит и вся вечность снится...*

*(“Измучен жизнью, коварством надежды...”)*

“Житейские обозы” и убийственный Нарым оставлены за порогом той жизни — впереди слышна лютня, которая звучала у него внутри все последние месяцы: “Я так нищ, что оглядывая(сь) на себя, удивляешься чуду жиз-

ни — тому, что ещё жив. На меня, как из мешка, сыплются камни ежечасных скорбей от дальних лжебратий и ближних — с кем я живу под одной крышей. Но как ветром с какой-то ароматной Вифаиды пахнёт иногда в душу цитра златая, нищетой богатая! Я всё более и более различаю эту цитру в голосах жизни. Всё чаще и чаще захватывает дух мой неизглаголанная музыка. Ах, не возвращаться бы назад в глухоту и немоту мира! Как блаженно и сладостно слушать невидимую цитру!” И в унисон этой невидимой цитре льётся его последняя песня, что становится первой, спетой за райским пределом, где светлым восторгом сменяется первоначальный страх.

“Небесной родины лишён и человеком ставший ныне”, он, проживший земную жизнь, возвращается в свою “небесную родину”.

Всё сбылось, житейские невзгоды позади, впереди же — чаемый берег, где смерти нет и страха не бывает. И на этом берегу снова воскресает его чаемая, желанная невидимая “Расея”, древняя и вечная, сберегаемая Христом.

*“Приди, дитя моё, приди!” —  
Запела лютня неземная,  
И сердце птичкой из груди  
Перепорхнуло в кущи рая.*

*И первой песенкой моей,  
Где брачной чашею лилея,  
Была: “Люблю тебя, Расея,  
Страна грачиных озимей!”*

*И Ангел вторил: “Буди, буди!  
Благословен родной овсень!  
Его, как розы в сосуде,  
Блюдёт Христос на Оный День!”*

3 мая Клюев пишет последнее из известных нам писем Варваре Горбачёвой со своего нового адреса:

“Дорогая Варвара Николаевна, приветствую Вас и Егорушку и милого Журавиноного Гостя (Клычкова. — **С.К.**). Теперь вы все, верно, на даче — на своём старом балкончике, — где стихи с ароматом первой клубники, яблони цветут. Моя весна — до Николы с ледяным ветром, с пересвистами еловых вершин. Перевод (30) получил — благодарю, да будет светлой Ваша весна! Прошу Вас поговорить по телефону или написать подробней Надежде Андреевне о покупке ковра, что он подлинно персидский, старый, крашен не анилином, ремонту лишь руб. на 25-ть. Я писал своему племяннику (Яру-Кравченко. — **С.К.**), умолял его о ковре за 400 руб., но ответа не получил. Если его увидите, то скажите эти условия. Я очень нуждаюсь. Здоровье тяжкое. Адрес новый: Старо-Ачинская ул., № 13”.

Срок ссылки подходил к концу, и Клюев, несмотря ни на что, надеялся на скорое освобождение. Из Томска он писал письма и Иванову-Разумнику, ни одно из которых не сохранилось. Архив критика почти целиком погиб в Царском Селе зимой 1941-1942 года в его деревянном домике. “Когда я посетил его в последний раз, — вспоминал критик, — библиотека и архив представляли собою сплошную кашу бумаги, истоптанной солдатскими сапогами на полу всех трёх комнат домика; теперь от него осталось только одно воспоминание...” Но из воспоминаний Разумника видно, что Клюев писал ему о грядущей возможности выехать из Томска “с чемоданом рукописей”... Трудно представить себе, что это был за чемодан, и письмо это, конечно, было отправлено не в августе 1937-го, как писал критик, а ранее... Так или иначе, можно предположить, что Клюев ждал окончания своего срока... И дождался бы, если бы не роковые события мая-июня 1937 года.

\* \* \*

В последние годы объективными историками установлено со всей бесспорностью, что к середине 1930-х годов в высших эшелонах власти до последнего предела обострилось противостояние Сталина и его группы верных

соратников, с одной стороны, и секретарей крайкомов и обкомов, “красных баронов”, умытых кровью гражданской войны и не желающих расставаться с “р-р-революционными” методами управления, — с другой.

В 1934 году было принято постановление ЦИК “О порядке восстановления в гражданских правах бывших кулаков”, которое было в целом реализовано к 1936 году. В 1935-м за колхозниками было юридически закреплено право на личное подсобное хозяйство, и состоялась реабилитация казачества. 26 ноября 1936 года в “Правде” Сталин объявил, что “не все бывшие кулаки, бело-гвардейцы и попы враждебны Советской власти”.

А самое главное — 5 декабря 1936 года была принята новая Конституция СССР, были реабилитированы *лишенцы* — колхозники, репрессированные по так называемому закону “о трёх колосках”... Были реабилитированы и “социально-чуждые элементы”, в своё время высланные Кировым, “чистившим” город, из Ленинграда...

И, наконец, был подготовлен проект прямых, тайных демократических выборов: были отпечатаны образцы избирательных бюллетеней с тремя кандидатами — от партийных ячеек, общественных организаций и собраний беспартийных.

Февраль 1937 года. Пленум ЦК ВКП(б). Выступает А. А. Жданов:

“Новая избирательная система... даст мощный толчок к улучшению работы советских органов, ликвидации бюрократических органов, ликвидации бюрократических недостатков и извращений в работе наших советских организаций. А эти недостатки, как вы знаете, очень существенны. Наши партийные органы должны быть готовы к избирательной борьбе...”

Всё это, вместе взятое, было “красным баронам” не просто поперёк горла. Сталин и его команда подвинули черту под гражданской войной, реально закончившейся только что, после коллективизации, а отнюдь не в 1922 году. Они преодолевали раскол общества и, соответственно, раскол страны в преддверии самых тяжких военных испытаний.

Прямые демократические выборы — это был конец “ленинской гвардии”, конец её реальной власти. Отличились “герои гражданской” за эти пятнадцать лет так, что при свободном волеизъявлении народа им как своих ушей не видать было не только кресла секретаря крайкома, обкома или райкома, но даже захудалого стульчика в райкомовской бухгалтерии. Более того, ни о какой их личной неприкосновенности уже не могло быть и речи.

И они перешли в контратаку.

И разговор пошёл в любимой терминологии: кто — кого? Он — нас, или мы — его?

После “кремлёвского дела”, раскрутившего *клубок* во главе с Авелем Енукидзе (1935), после процесса Зиновьева-Каменева (август 1936-го) и “параллельного антисоветского троцкистского центра” (январь 1937-го) “бароны” требуют ещё и ещё крови. Народной крови. И крови друг друга.

Народу после всего пережитого, в самом деле, “жить стало лучше и веселее”... А атмосфера подозрительности и страха нагнеталась день ото дня.

Впрочем, и сам Сталин дал понять народу, что не всегда государство может и должно быть милосердным.

Из беседы И. В. Сталина с Лионом Фейхтвангером 8 января 1937 года.

“СТАЛИН. Надо различать критику деловую и критику, имеющую целью вести пропаганду против советского строя.

Есть у нас, например, группа писателей, которые не согласны с нашей национальной политикой, с национальным равноправием. Они хотели бы покритиковать нашу национальную политику. Можно раз покритиковать. Но их цель не критика, а пропаганда против нашей политики равноправия наций. Мы не можем допустить пропаганду натравливания одной части населения на другую, одной нации на другую. Мы не можем допустить, чтобы постоянно напоминали, что русские были когда-то господствующей нацией.

Есть группа литераторов, которая не хочет, чтобы мы вели борьбу против фашистских элементов, а такие элементы у нас имеются. Дать право пропаганды фашизма, против социализма — нецелесообразно...

Критика, которая хочет опрокинуть советский строй, не встречает у нас сочувствия. Есть такой грех”.

Информация о “натравливании”, о писателях, “не желающих, чтобы мы вели борьбу против фашистских элементов”, бралась с газетных страниц, за-

полненных умелой травлей *неудобных*. Уже начали раскручиваться в НКВД “дела” против крестьянских писателей: 8 февраля 1937 года по обвинению в “терроризме” был арестован Павел Васильев.

\* \* \*

Всё это имело самое непосредственное отношение к судьбе Николая Клюева. 25 марта 1937 года, сразу по окончании февральско-мартовского пленума, на котором региональные “бароны” устроили настоящую *истеричку*, требуя продолжения *охоты на ведьм*, по личному указанию секретаря Западно-Сибирского крайкома Роберта Эйхе начальник управления НКВД по Западно-Сибирскому краю Сергей Миронов (он же Мирон Король) составил письменное предписание, где обосновывалась необходимость “тащить” Клюева “не на правых троцкистов”, а “по линии монархически-фашистского типа”. Эйхе готовился к проведению грандиозной “операции”, с которой, собственно говоря, и началась кровавая чистка 1937 года.

После раскрытия “генеральского заговора” и ареста Тухачевского и других командиров Красной Армии в мае 1937-го можно было реально убедить Сталина в существовании *пятой колонны* по испанскому образцу. И с ней необходимо было разобратся немедленно, иначе нечего было и думать об альтернативных кандидатурах на грядущих выборах. Но, прежде всего, нужно было найти эту самую *пятую колонну*, тогда можно было бы доложить и о начале расправы с ней. О начале, *только о начале*, чтобы раскручивать кровавый маховик дальше.

Эйхе стал готовиться в марте, сочиняя “линию монархически-фашистского типа”... Можно было, в духе времени, использовать и “троцкистов”, но в “Клюева-троцкиста” никто бы не поверил даже из местного начальства. И успеть в изготовлении сей страшной “организации” (у которой ещё и названия-то не было!) нужно было до июньского пленума 1937 года, на котором предстояло выложить козырные карты на стол.

Название организации появилось в апреле: 29 апреля датирован протокол допроса арестованного в Томске Голова Александра Фёдоровича.

“*Вопрос.* На допросе 19 апреля 1937 г<ода> Вы признали, что являетесь членом контрреволюционной организации “Союз Спасения России”, назвали участников этой организации. Дайте характеристику известным Вам членам контрреволюционной организации, указанным Вами в предыдущем показании.

“*Ответ.* В состав контрреволюционной организации “Союз Спасения России” входят лица с явно враждебными взглядами против Советской власти, приверженцы монархического строя...”

И далее – имена: Георгий Лампе, бывший морской офицер Павел Иванов, преподаватель русского и латинского языков Томского университета Александр Успенский, бывший кулак Гавриил Диков, студенты университета братья Рязанцевы, некто Беляев... И, наконец:

“О принадлежности к этой организации Лампе, Беляева, бывш. княгини Волконской, адмссильного писателя Клюева – мне известно со слов Ивановского, который всех знает лично, посещал их квартиры и обсуждал с ними вопросы борьбы с Соввластью. Особо он придавал значение участию в этой организации писателя Клюева и Волконской, говоря, что “это – люди непримиримой борьбы”...”

Показания эти выжимал из подследственного Оперуполномоченный 7 отдела УГБ младший лейтенант госбезопасности Горбенко.

Пётр Ивановский, такой же административносильный, был, очевидно, знаком с Клюевым, как и некоторые другие персонажи этого дела, из которых и склачивалась пресловутая “организация”.

15 мая был допрошен Александр Успенский, по его словам – “по своим убеждениям – социалист”.

“*Вопрос.* Кто является руководителем организации?”

“*Ответ.* Со слов Ивановского мне известно, что идейным вдохновителем и руководителем организации является писатель Клюев, отбывающий в данное время ссылку в г. Томске.

Ивановский говорил мне о том, что Клюев является известной фигурой среди монархических элементов как в России, так и за границей прошлой

своей деятельностью, что он и теперь остался авторитетной личностью среди людей, ненавидящих советскую власть.

При этом Ивановский говорил мне, что Клюев отбывает ссылку в г. Томске за продажу своих сочинений, направленных против советской власти, одному из капиталистических государств, какому именно — он не упоминал, только указал, что сочинения Клюева были напечатаны за границей, и ему прислали за них 10 тысяч рублей.

*Вопрос.* Лично вы были знакомы с Клюевым?

*Ответ.* Нет, личной связи с Клюевым я не имел. Ивановский, как я понял из его слов, с Клюевым знаком давно и находится с ним в близких отношениях, посещали друг друга на квартирах и т. д. . . .”

Слышал несчастный звон, да не знал, где он. “Испорченный телефон” работал на полную катушку. “Монархизм” Клюева взялся, очевидно, из читанных поэтом отрывков “Песни о Великой Матери”. . . Рассказ о знакомстве с Этторе Ло Гатто превратился в “продажу сочинений капиталистическому государству”, и сумма гонорара была явно выдумана, поскольку даже от берлинских “Скифов” Клюев в своё время не получил ни рубля! . .

Но главное было сделано: от свидетеля получен необходимый “материал”.

28 мая был выдан одер № 656 с поручением произвести обыск и арест “гр. Клюева Николая Алексеевича”, проживающего по адресу: г. Томск, Стара-Ачинская ул. 13, кв.1.

В тот же день было выписано “Постановление об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения”. Клюев, оказывается, “является руководителем и идейным вдохновителем контрреволюционной монархической организации “Союз Спасения России”, существующей в г. Томске, принимал в ней деятельное участие, группируя вокруг себя контрреволюционный элемент, репрессированный соввластью. Имеет связи с зарубежными монархическими элементами, по заданию которых проводит к-р работу по объединению враждебных элементов Соввласти. . .” и потому привлекается в качестве обвиняемого по статье 58 чч. 2, 10, 11. То есть речь шла о подготовке вооружённого восстания с целью захвата власти, пропаганде и агитации, содержащей призыв к свержению или подрыву советской власти и распространению и изготовлению литературы соответствующего содержания, и всё это осложнялось действиями организации. И тут же составляется начальником 3-го отделения Том. ГО НКВД лейтенантом госбезопасности Великановым “Справка”, в которой все вышеприведённые обвинения дополняются ещё тремя пунктами:

“Присутствуя на контрреволюционных сборищах, Клюев выдвигал вопросы борьбы с советской властью путём вооружённого восстания. . .

Будучи враждебно настроен к существующему строю, находясь в ссылке в г. Томске, Клюев продолжает писать стихи контрреволюционного характера, распространяя их среди некоторых участников контрреволюционной организации. . .”

Но и этого мало. Нужно дополнить ещё вот чем:

“Установлено, что некоторую часть своих контрреволюционных произведений Клюев переправил за границу и из г. Томска (! — **С.К.**) через соответствующих лиц, имеющих связи с представителями иностранных государств”.

Кем установлено? Когда? Неужели в эту “передачу” превратились обращения Клюева в Красный Крест?

Впрочем, истина никого не интересовала. Было предписано мерой пресечения избрать “содержание под стражей в местах заключения, подведомственных органам НКВД”.

А на следующий день был допрошен Пётр Ивановский, назвавший Клюева в числе других 33-х членов “организации”. Ещё через день — допрос Георгия Лампе, который поначалу вообще отрицал существование какого-либо “союза”, но, когда ему пригрозили очными ставками, — сломался. Тут уже одним Томском дело не ограничилось. Щупальца “Союза” оказались куда длиннее!

*Вопрос.* Какие директивы Вами получались от Московского кадетско-монархического центра?

*Ответ.* Директива Московского монархического центра нашей организации предвляла требование развернуть работу по созданию монархических формирований в Нарыме. При этом особенное наше внимание обращалось на сконцентрированный в Нарымской ссылке монархический элемент и на

спецпереселенцев. Последние рассматривались как живая сила будущих повстанческих отрядов.

Волконский как-то говорил мне: “Вы понимаете, что спецпереселенцы – это организованная масса, которая при наличии соответствующих военных кадров может представить собой довольно внушительную армию”.

И по тому, как говорил Волконский, вполне естественно, что Московский центр фиксирует наше внимание на спецпереселенцах. Значительно позже эту же задачу в разговорах со мной подчёркивал и Клюев...

Второй задачей ставилось: максимальное привлечение в организацию реакционной части научных работников Томских ВУЗов...

Третье: предъявлялось также требование обеспечить своё влияние на монархические элементы Алтая...”

И, наконец, 5 июня пришли за Клюевым. При обыске изъяли рукописную тетрадь, 6 рукописей на отдельных листах, удостоверение личности, выданное НКВД, и 9 штук разных книг.

Это был его шестой арест из тех, о которых достоверно известно на сегодняшний день.

\* \* \*

В анкете, которую заполнял Горбенко 6 июня со слов Клюева, есть вещи достаточно странные. В частности, год рождения указан 1870-й. Скорее всего, это фантазия самого следователя, глядящего на измождённого больного старика. Местом рождения своего Клюев назвал место приписки своих родителей – деревню Макеево Кирилловского уезда Новгородской губернии.

Социальное положение – из крестьян середняков.

Имущественного положения – нет. Политического прошлого – нет. Беспартийный. Ранее в партиях не состоял (ни о приёме в РКП(б), ни о последующем исключении не обмолвился). Образование – среднее, но при этом официального образования не имеет. Под судом и следствием, если верить анкете, был лишь раз в 1934 году, когда приговорили к 5 годам ссылки.

Состояние здоровья: паралич и порок сердца. Подпись внизу выведена еле-еле, с наклоном вниз.

В тот день был задан лишь один-единственный вопрос:

– Скажите, за что Вы были арестованы в Москве и осуждены на ссылку в Западную Сибирь?

– Проживая в Полтаве, я написал поэму “Погорельщина”, которая впоследствии была признана кулацкой, я её распространял в литературных кругах в Ленинграде и Москве. По существу эта поэма была с реакционным антисоветским направлением, отражала кулацкую идеологию.

На этом допрос прервался. Ни единого вопроса о “Союзе Спасения России” Клюеву задано не было. Возможно, следователь не видел в том нужды.

Клюев сидел в тюрьме, когда в конце июня в Москве проходил пленум ЦК – самый таинственный пленум в истории компартии, ибо заседания, проходившие 22–26 июня, не стенографировались. Результатом стало исключение из рядов ВКП(б) 9 членов ЦК и 10 кандидатов в члены ЦК. Междоусобная борьба разгорелась не на шутку. Кроме того, на пленуме был принят один чрезвычайно важный документ.

“Постановление Политбюро от 28 июня 1937 г<ода>

О вскрытой в Зап. Сибири к.-р. повстанческой организации среди высланных кулаков.

1. Считать необходимым в отношении всех активистов повстанческой организации среди высланных кулаков применить высшую меру наказания.

2. Для ускоренного рассмотрения дел создать тройку в составе нач. УНКВД по Зап. Сибири т. Миронова (председатель), прокурора по Зап. Сибири т. Баркова и секретаря Запсибкрайкома т. Эйхе”.

Принятие этого документа Эйхе продавил днём раньше. Следствие по инициированному им делу “Союза Спасения России” шло полным ходом. Но сконцентрировать внимание только на очередной организации контрреволюционеров ему было недостаточно. На пленуме ситуация была представлена

уже как подготовка восстания бывших кулаков – тех, кому недавно были возвращены все гражданские права!

Эйхе выступал не один. 1 и 2 июля со Сталиным и Молотовым встретились и имели беседы последовательно один за другим 9 секретарей крайкомов и обкомов. “Красные бароны”, апологеты гражданской войны, перешли в наступление, требуя полномочий для борьбы с “врагами народа”... Сталин и его приверженцы оказались в численном меньшинстве, и противостоять в открытую у них возможности не было. “Кровью умытые” регионалы имели все шансы сбросить Сталина, выразив ему недоверие в случае его сопротивления, и всё равно развязали бы террор. По существу, страна стояла на пороге новой гражданской войны. Оставался лишь один выход: перехватить инициативу, чтобы “бароны” утонули в тех реках крови, которые должны были пролиться, и исчезнуть, наконец, без следа.

9 июля было принято постановление Политбюро ЦК КПСС “Об антисоветских элементах”. Рекордсменом на лимиты по репрессиям в этом постановлении числился Эйхе – “тройке” по Западно-Сибирскому краю предписывалось утвердить намеченных к расстрелу 6600 кулаков и 4200 уголовников. Но после оперативного приказа № 00447 наркома внутренних дел Николая Ежова от 30 июля 1937 года, где говорилось о необходимости провести репрессии среди “бывших кулаков... социально-опасных элементов... уголовников... сектантских активистов... церковников...”, он “выбил” лимит в 10 800 жителей Западно-Сибирского края, подлежащих расстрелу, без указания числа обречённых на высылку. Его перещеголял лишь Н.С. Хрущёв, обозначивший по Московской области число подлежащих репрессиям в 41 305 человек.

И началась настоящая бойня, более всего напоминающая “красный террор” 1918 года, правда, без огласки. Гибли простые люди вперемежку с деятелями партийного руководства, только-только потиравшими руки от предвкушения своей расправы над населением.

\* \* \*

Из протокола допроса Никиты Ширинского-Шихматова от 19 июля 1937 года:  
“Вопрос: Вам известен Клюев Николай Алексеевич?

Ответ: Да, Клюева Николая Алексеевича я знаю, он отбывает ссылку в гор. Томске за контрреволюционные преступления.

Вопрос: Вы признали, что являетесь сторонником монархического строя в России. Скажите, с кем Вы из своих знакомых говорили по вопросу борьбы с советской властью и восстановления монархии в СССР?

Ответ: Об этом я говорил с Николаем Алексеевичем Клюевым. Мы считали, что советская власть рано или поздно должна быть свергнута силами извне, т. е. путём военного выступления капиталистических государств против СССР...

Вопрос: Кем и когда Вы были привлечены в... контрреволюционную организацию?

Ответ: В состав кадетско-монархической организации я вошёл через Клюева Николая Алексеевича в конце сентября 1936 г<ода> или начале 1937 года.

Вопрос: При каких обстоятельствах Вы были вовлечены в состав контрреволюционной организации?

Ответ: После ряда бесед на контрреволюционные темы с Клюевым Николаем Алексеевичем, он сообщил мне, что в г. Томске существует контрреволюционная монархическая организация, ставящая своей задачей вооружённое свержение советской власти...”

Через 2 дня было вынесено постановление о продлении сроков следствия. Число участников “организации” всё увеличивалось, всё новые и новые подследственные давали показания о том, что Клюев якобы говорил, что, дескать, “недолго осталось коммунистам существовать, скоро мы станем хозяевами России и восторжествуем”, и ещё, что “конец 1937 года должен быть началом беспощадной борьбы и уничтожения коммунистов” и что “Япония и Германия придут к нам в качестве наших освободителей”... Чем страшнее – тем лучше!

Наконец, 9 октября сотрудником Томского ГО НКВД Чагиным был допрошен сам Клюев. Он заявил, что виновным себя не признаёт, ни в какой контрреволюционной организации не состоял и к свержению советской власти не

готовился. Заявил, что убеждённый монархист, не желая вступать по этому вопросу ни в какую полемику со следователем. Признал (точнее, согласился с допрашивающим, очевидно, желая кончить всё это поскорее), что “действительно продал свои труды представителям иностранной буржуазии”, что “знал, что на советскую власть должны рано или поздно выступить фашистские страны” и “был настроен пораженчески”, но “в контрреволюционной организации не состоял”, с членами “организации” беседовал о церковных делах, в разговорах “выражал недовольство соввластью”... Следователь как будто не слышал – перед ним лежали подробные показания остальных арестованных, складывающиеся в цельную картину.

**“Вопрос:** Следствием вы достаточно обличены. Что вы можете заявить правдиво об организации?

**Ответ:** Больше показаний давать не желаю”.

Такого ответа не дал на допросах ни один из так называемого “Союза Спасения России”.

Подпись под протоколом уже почти невозможно разобрать – рука не слушалась.

В обвинительном заключении по делу № 12301 за подписью капитана госбезопасности Овчинникова указано, что “Клюев виновным признал себя частично”. А 13 октября датирована выписка из протокола № 45/10 заседания тройки управления НКВД Новосибирской области, постановившей:

**“Клюева Николая Алексеевича РАССТРЕЛЯТЬ. Лично принадлежащее ему имущество конфисковать”.**

И, судя по документам, тюремной жизни поэту было отпущено ещё 10 дней.

... Здание пересыльной тюрьмы в Томске, где сидели в своё время и Сталин, и Свердлов, и Киров, доживает свои последние дни перед скорым сном. В старом корпусе № 1 есть карцер № 3, ныне не используемый по назначению. На двери карцера прикреплена табличка:

**“В этой камере с июня по октябрь 1937 года содержался поэт Клюев Н. А. (1884–1937).**

Камера размером 3 квадратных метра с окошком для выдачи пищи. В углу у параша – кандалное кольцо, оставшееся ещё от царских времён. Запах тюрьмы не убивается даже свежей краской. Сгущенность воздуха такова, что кажется, вокруг тебя – души всех прошедших через эту камеру...

Едва ли он дождался расстрела, как другие заключённые. Очевидно, он уже умирал.

**“Выписка из акта”** свидетельствует, что **“постановление Тройки УНКВД от 13 октября месяца 1937 года о расстреле Клюева Николая Алексеевича”** приведено в исполнение **“23-25/X 1937 г<ода>”**. Час приведения приговора в исполнение не указан, и вместо подписи сотрудника оперштаба – нечто неразборчивое.

Действительно ли его расстреляли на Каштаке, где сейчас стоит православный крест в память всех убиенных? Или он окончил свои дни в камере и его просто зарыли на кладбище, на месте которого сейчас стоят корпуса **“Сибкабеля”**? Странная бумага, не дающая нам окончательного ответа ни на один вопрос.

Проходит почти два года – и из Новосибирска в Томск направляется следующий запрос:

**“Начальнику Томского ГО НКВД.**

В вашем районе отбывает ссылку ссыльный Клюев Николай Алексеевич. Срок ссылки ссыльному Клюеву закончился 2/11.39 года, об освобождении его из ссылки никаких сообщений нет. В трёхдневный срок сообщите в 1-й спецотдел НКВД, когда освобождён и куда выбыл. Если же ссыльный Клюев не освобождён, то немедленно освободить и выдать справку.

Зам. нач. 1-го спецотдела УНКВД НСО

ст. лейтенант госбезопасности Дасов.

Пом. оперуполномоченного Лушпий”.

Эта бумага неопровержимо свидетельствует о том, что о конкретном масштабе террора, особенно в провинции, представления не имели не только в Москве, но и в областных центрах. На местах ежовские подручные убивали

людей, даже не огласив им приговора. Запрос пришёл в Новосибирск, очевидно, из Москвы в ту пору, когда Лаврентий Берия, сменивший Ежова на посту наркома НКВД, стал разбираться с теми делами, что успели натворить чекисты до него, между делом выпуская из тюрем тех, кто не дал на себя показаний. В областных управлениях НКВД дрожали мелкой дрожью, ожидая своей участи, и этот запрос лишь подлил масла в огонь страха и ненависти.

Ответа из Томска не было, во всяком случае, он не известен. О судьбе Клюева долгое время ходили легенды, самая живучая из которых гласила: он отбыл свой срок, освободился, выехал в Москву, но по дороге скончался от сердечного приступа на одной из станций. Владимир Чивилихин даже называл конкретную станцию – Тайга, очевидно, по ассоциации со знаменитым кинофильмом 1930-х годов “Партийный билет”, где эта станция упоминалась как место ссылки бывших кулаков.

И сегодня мы знаем только то, что Николай Алексеевич Клюев окончил свои дни в Томске.

В конце 1950-х годов, в период всеобщей реабилитации, Иван Михайлович Гронский, отсидевший свои 18 лет, составлял реабилитационные справки для Военной прокуратуры. Но когда дело дошло до Клюева – категорически отказался за него хлопотать. Клюев остался для Гронского и личным его врагом, и врагом Советской власти.

По делу 1937 года Клюев был реабилитирован военным трибуналом Сибирского военного округа в 1960 году, и для широкой публики это оставалось неизвестным вплоть до конца 1980-х годов, когда по запросу Комиссии по его творческому наследию он был, наконец, реабилитирован и по делу 1934 года.

---

---

*Редакция поздравляет нашего автора  
Сергея Ивановича СУББОТИНА,  
глубокого исследователя творчества  
Сергея ЕСЕНИНА и Николая КЛЮЕВА,  
с 70-летием!*